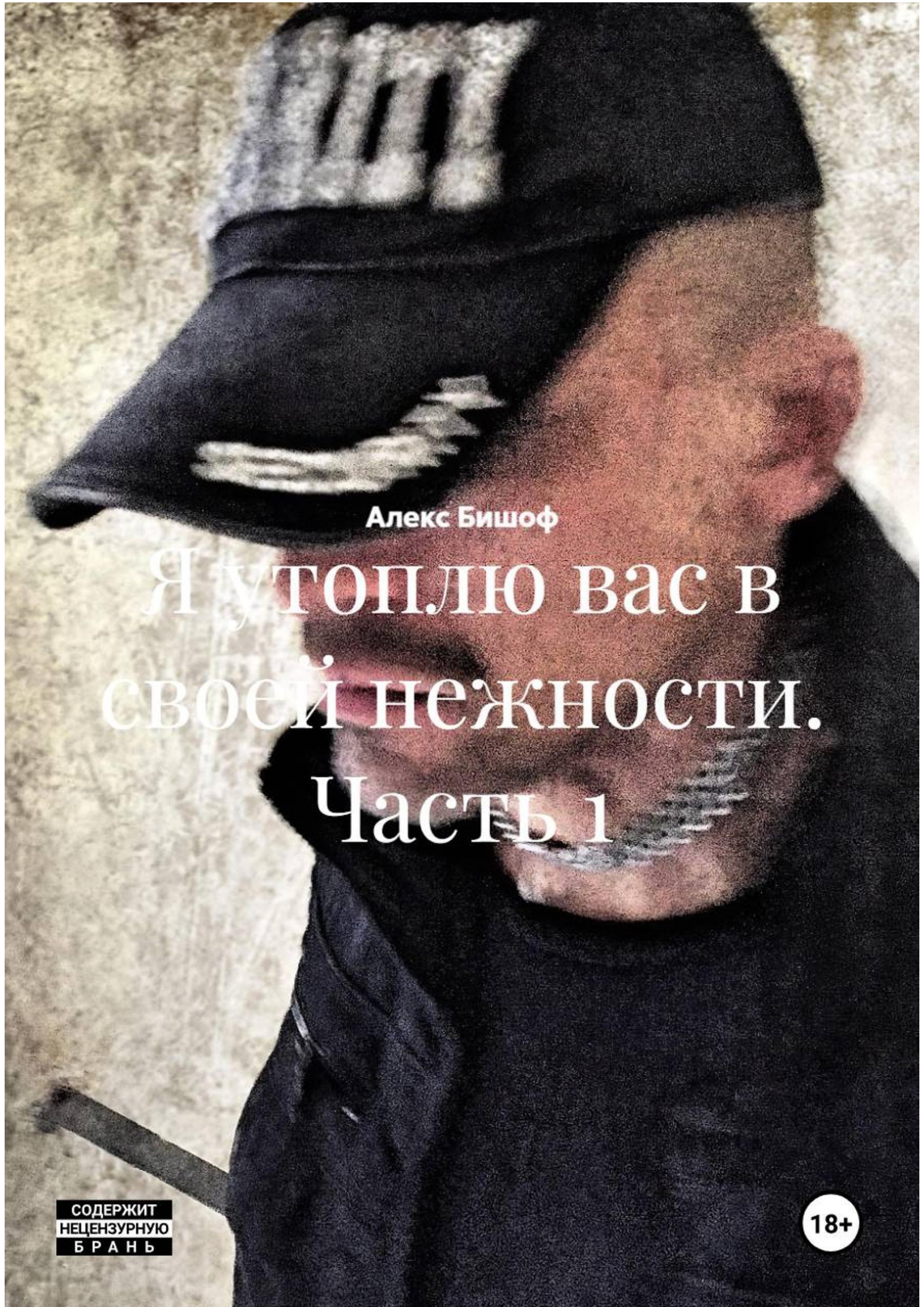




Алекс Бишоф

Я утоплю вас в
своей нежности.
Часть 1

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Алекс Бишоф

**Я утоплю вас в своей
нежности. Часть 1**

«Автор»

2026

Бишоф А.

Я утоплю вас в своей нежности. Часть 1 / А. Бишоф — «Автор»,
2026

Реальные события, реального зека. Я и мой ад в тюрьме. Все события были.
Все люди настоящие. Книга: как я выживал с обвинением по 135 ст. УК РФ

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	24
Глава 5	29
Глава 6	39
Глава 7	50
Глава 8	60
Глава 9	74
Глава 10	93
Глава 11	121

Алекс Бишоф

Я утоплю вас в своей нежности. Часть 1

Глава 1

Во рту говно, сушняк, голова отдельно. Вчерашний день пропит. На улице солнце. Начало апреля. Центр города. Комната — двадцать пять квадратов. Умираю... Весна мягко шумит за окном - не до неё. Туалет, ванна... Чуть ожил. Страшный бардак. На столе — перевернутая пивная банка, пакеты из-под вина, блестящая обёртка от мороженого. Мне ночью хотелось сладкого?..

Водки нет... Странно. Мне казалось: я еще ночью, с расчетом на утро, взял литр. Посмотрел у кровати, у кресла. Дэвид, решив, что у меня появилось желание поиграть, весело ворчит и кидается на меня. — Подожди, сейчас найду и пойдем гулять. Этот глагол он знает прекрасно. Ворчит и лупит хвостом. Нету водки! Куда исчезла?! В задумчивости открываю холодильник и.. трясущимися руками достаю початый литр. Вот как выглядит счастье!

Ругаюсь на Дэвида: — Подожди, блядь, сейчас пойдем! «Блядь» действует на него магически. За секунду он исчезает под тахтой, лишь толстый, коричневый в разводах хвост колотится по полу. Есть чистый стакан?! Верчу по сторонам мутной головой. Откуда?! Я последний раз мыл посуду неделю назад. Иду споласкивать грязную, с прилипшим томатным соком емкость в ванную. В ванную — ближе (до кухни ещё семь метров).

Наконец-то. Наливаю треть стакана водки, взбалтываю остатки сока в пакете. Задерживаю дыхание и глотаю, быстро запив теплым соком. Тьфу! Черт! Какая гадость! Выплываю хабарики, кинутые вчера в пакет. Водка приживается постепенно: перестает болеть голова, успокаивается давление, проясняется мысль, оформляется саркастическая улыбка. Я снова я. Еще один — и состояние закрепится.

Вошел, хороший мой! Надеваю ошейник на Дэвида, и идем гулять. Не хочу видеть соседей - выходим по черному ходу. Колбасит, мысли путаются, вовсе не хочется поддерживать какую-нибудь неожиданную светскую беседу.

Во дворе приятная тень. Солнце не мешает, не слепит — ласково сидит на стенах нашего «колодца». Дэвид, не сдерживаясь, поднимает лапу сразу на выходе из парадной. Я тащу его дальше. Он, не упираясь, перебирает лапами за мной, одновременно мочится, оставляя дискретный мокрый след. Завернули во второй двор. Отцепляю, и он радостно устраивается срать прямо у колеса какого-то джипа. Наплевать! Есть пакеты — уберу.

Сосредоточенно обнюхивает углы, машину и всё говно, разложенное по двору. Достаю сигарету. Водка полностью прижилась, надо закурить. Затягиваюсь. А-а-а... блин! Чуть не вывернуло! Пустой желудок возмутился на дым, и я согнулся от спазма. Еле-еле докуриваю сигарету и нагибаюсь, чтобы убраться за Дэвидом.

Он радостно вертится рядом. Предполагает, что я хочу тоже понюхать его какашки и обсудить событие. Острый запах теплого дерьма ударяет в нос и повторно выворачивает. Черт! Еле-еле, не дыша, соскабливаю фекалии и выкидываю пакет в помойку. Всё!

— Идем кушать! — говорю ему, делая акцент на слове «кушать», иначе может закобениться и остаться гулять.

«Кушать», так же как и «гулять», он знает и, опережая меня, несется на четвертый этаж. Добегает до квартиры, ждет пару секунд, возвращается ко мне, преодолевавшему второй этаж. Пауза. Снова наверх. Мне бы, Дэвид, твою энергию...

(Сейчас, когда прошло почти десять лет, я не знаю: жив ли ты? Умер ли?.. В каком дворе ты бегаешь? Или тебя, любимого моего пса — до сих пор ты приходишь ко мне во сне

— забрал кто-то другой Прости меня! Я знаю, ты не верил, что я тебя бросил. Ты долго ждал меня. Прости, мой верный настоящий друг!)

В квартире он несется стремглав к миске. Лупит по ней лапой и с нетерпением смотрит на меня. — Сейчас-сейчас! — ворчу я. Беру его посуду и ухожу на кухню. От такого немыслимо активного утра действие алкоголя пропадает.

Надо добавить. Кладу геркулес, приношу Дэвиду и, пока он наконец занят, наливаю добавку. Чудесно! Захотелось есть. Это хорошо — желудок проснулся. Но дома ничего, что можно быстро приготовить. Варить или жарить я не в состоянии. Куплю что-нибудь пожарить и еще, пожалуй, литр. Впереди пара выходных, деньги есть — все условия.

В магазине, где приветливо и понимающе улыбаются знакомые продавщицы, беру пол-литра водки, пиво, непонятный шашлык и чипсы. На улице тихо и мило. Утро субботы — прохожие плавны. Их мало, и, пряча невыспавшиеся лица, они стремятся скорее скрыться в своих парадных.

Захожу в первый по движению двор. Ранние пташки! Удивляя своим неукротимым постоянством, на скамейках у парадной сидят пятеро асоциалов — людей вне времени и пространства. Бутылка портвейна гуляет по рукам. Весело и беспечно разновозрастные парни обсуждают последние новости. Водка бродит, чувство прекрасного оживает, и мне тоже хочется поделиться с кем-нибудь своим радостным состоянием. Благо входные билеты в этот клуб лежат у меня в пакете. Подхожу и прошу прикурить.

— Вечеринка в разгаре? — спрашиваю. Самый бодрый, окинув меня быстрым взглядом и оценивая мои возможности, радостно осклабился: — Ну! Вот, сидим с братвой. Вино будешь? Называя ужасный портвейн «вином», бодрый кивнул на кочующую «ноль семь». Лица собутыльников напряглись, разговор застрял. Предположив мои поползновения на кончающуюся единственную бутылку, двое ближайших к нему корешей с ненавистью посмотрели на моего собеседника. Они в силу своей тупости не могли оценить его дальновидность. Им было невдомек, что приглашение ведет к моему полноценному участию, а не просто халявному угощению.

Я поспешил прояснить ситуацию во избежание негатива: — Не-не! Спасибо, у меня своё! Достая бутылку «Туборга» и остатки водки. Протягиваю ближайшему ко мне пол-литра и предлагаю: — Давайте-ка водочки поднакатим!

Лица посветлели, членство в клубе оформлено. Предыдущая тема была закрыта, и все погрузились в веселую суету, связанную с поиском стаканчика, разделением закуски и «гамбитами» по скамейке, чтобы уступить мне место. Сидим. Никто не требует от меня развернутого представления или рассказа о себе.

И в этом прелесть таких компаний: уважение чужого желания не распространяться о себе, право на инкогнито. Оживает еще одна история болтуна, развлекающего эту компанию, видимо, не первый раз. Какая-то Оля, какой-то Вова с утра поехали по грибы... По пути выпили всё, что взяли, и, не дойдя до леса, поехали обратно. Мне история показалась очень забавной, и, посмеявшись в голос, я заслужил благосклонность рассказчика.

Когда пол-литра закончились, я дал денег еще на половину, добавив немного на сигареты для молчуна Вовы, безостановочно «стреляющего» курево у всей компании. Первоначально хотели отправить за покупками Пашу, как самого смекалистого, хотя при моем заказе, казалось бы, сложно было что-то напутать. Но я был категорически против Пашиной кандидатуры на роль гонца — не хотелось оставаться без «аниматора», поэтому в магазин отправили трясущегося Диму.

И лишь когда он скрылся за углом, Бодрый заметил: — Можем минут сорок его ждать. — Да ладно?! — спохватился я. — А зачем тогда отправили? — Так сам же Пашу не пустил, — напомнил Бодрый.

Обсудили вчерашние новости, и минут через двадцать я психанул. Решил сам идти в магазин, сожалея об отданных деньгах. Но тут из-за угла появился «ходок», направляющийся к нам с отрешенным видом.

— Ну? — накинута на него Бодрый. — Сколько можно ходить?

Не поднимая глаз, Дима медленно достал из пакета бутылку портвейна и пачку «Беломора». Всё это Бодрый сгреб и вопросительно посмотрел на меня: доволен ли спонсор выполненным поручением? Спонсор был недоволен. Портвейн я не употреблял ни в каком виде. Молча Дима выскреб сдачу и передал мне. Бодрый, протянувший было за деньгами руку, быстро её отдернул. Обратив внимание на мой недовольный вид и понимая, что Дима накосячил (но непонятно где), он наугад бросил:

— Ты что купил?!

Дима встревоженно и грустно посмотрел на меня. В его взгляде была такая смиренность и готовность понести наказание... Я махнул рукой. Схожу сам. Тут меня остановил Паша: — Я за пять минут обернусь! — взял деньги и рванул к магазину. — Точняк купит! — заверил меня Бодрый. — Надо было его сразу отправлять!

Я допил водку. Паша вернулся вовремя. Начинался отходняк. С будуна организм выкидывает странные фортели: чтобы заново опьянеть, надо обязательно дойти до определённой стадии, иначе плохо — тебя трясёт и начинается паника. Это обманчивая грань. Стоит немного переборщить, и вместо гармоничного счастья и уверенности в себе появляется коматоз, изредка прерывающийся на буйство — рубящее и убивающее.

Водка прижилась быстро. Я почувствовал, что закусывать больше не надо. Сыт. Разговаривать тоже не хочется — некачественно получается. Пойти куда-нибудь?.. Собутыльники запротестовали, противопоставляя моему уходу перспективы дальнейшего распития. Но я сухо кивнул и ушёл от них «в туман».

То ли выпивка была некачественная, то ли её было слишком много... Не знаю. Но передвигаться мог плохо. Выбрал дорожку с минимальным количеством препятствий, посыпанную песочком и лишённую праздношатающихся граждан. Неторопливо перемещаясь, я наслаждался далёкими звуками автомобилей и приглушенными сигналами, дополняющими спокойствие солнечного дня. Редкая для центра города зелень приносила шелест листьев. Казалось, звук спускается по стволам и падает в кусты.

Тянущая тоска мялась в душе. Чего-то смутно хотелось... И самой простой мыслью для удовлетворения этого невыраженного желания стала надежда на знакомство.

Знакомстве легком, ни к чему не обязывающем. Чудесной встрече. Встрече с ней. С ней — любовью. Я становился непритязателен.

Шел по соединенным между собой дворам незаметным пьяницей. На улицу выходить не хотелось. Было бы хорошо, если, проходя по двору, я увидел сексуальную малышку, которая сама подошла ко мне со словами: «Какой милый! Немедленно возьми меня в этой парадной!» Но даже своим пьяным, разрозненным сознанием я понимал нереальность такого события.

Облака разорванными перфорированными листьями превращались в грязный сбившийся матрас и уползали за крыши. Закинув голову, я улыбнулся ласковому спокойствию голубого фона. Размышляя о будущем, позволил хмелю рассосаться и стал чувствовать себя адекватнее. В магазине взял еще пол-литра и, не выбирая долго — шашлык, большую минералку, сигареты и, на всякий случай (мало ли, какая-то встреча состоится), жвачку. Сел во дворе. Закурил.

Надо позвонить маме, но не хотелось, чтобы она поняла мое состояние ранним днем. Можно было и выйти на работу... Шеф говорил: заказы есть. Но только ведь уже настроился на отдых... Успею. Тем более сейчас ситуация складывается в мою пользу: я работник незаменимый, и шеф мне доверяет. Даже предлагал начальником производства стать.

Налил немного. Кусок мяса с палочки. Выпил, закусил.

В тесноте улочки между двухэтажных домов появилась флегматичная болонка, тянущая неоправданно длинный поводок. За ней — пухлый тридцатилетний очкарик с дебиловатым выражением лица. Болонка равнодушно прошла мимо меня, а очкарик, поравнявшись, кивнул и присел рядом. Он ничем не выдал заинтересованности в выпивке, но она была очевидна. Я тоже захотел пообщаться. Предложил ему второй стаканчик, купленный для минералки.

Выпили за знакомство, и минут через двадцать выяснилось, что мы где-то встречались. Причем я был на сто процентов уверен: этого не могло быть вообще никогда, но согласился, дабы не спорить. Еще через двадцать минут выяснилось: мой знакомый — мастер спорта чего-то там по легкой атлетике. Естественно, я не поверил, но алкогольная солидарность, очень бережно относящаяся к мифологии собеседника, не позволила мне вывести его на чистую воду. Мы допили водку, и я прояснил, что уже «без пяти минут начальник производства» в одной крупной мебельной фирме.

Солнце окрепло, и день стал размеренно-полным. Я был размазан по скамейке. Доносился непонятный бубнёж собутыльника. Окружающие дома не пускали губительную для меня жару — во дворе было прохладно и тихо. Сквозь туман алкоголя я слышал, как «легкоатлет» раскручивает меня на продолжение вечеринки. Мне не хотелось пить, и я отказывался: говорил, что почти всё истратил. Спортсмен не мог уговорить и предложил сходить с ним за деньгами. Мол, где-то рядом живет его приятель, у которого можно занять. Сомневаясь в реальности этой затеи, я согласился, и мы направились за деньгами.

Выйдя на улицу, я пожалел. Солнце расслабляло, ноги становились непослушными. Я шёл через силу, уже почти не отвечая на радостное предвкушение, которым горел собеседник. Минут через десять мы, в конце концов, дошли до таинственного заимодавца. Оставив меня на улице, очкарик поднялся «на секунду».

Я закурил и окончательно выпал из реальности. Идущая мимо девушка аккуратно разделилась натрое; дорога потеряла извилистость и стала подозрительно ровной, при этом всё равно продолжая где-то прятать неожиданно появляющийся транспорт.

Звуки наливались над головой и плыли единой непрекращающейся мелодией. Держался на ногах и соображал ещё хоть что-то только в силу непонятной инерции. Когда появился очкарик, я уже совсем плохо понимал, что здесь делаю и что собирался делать вообще. Идти не мог совсем. Вырвав меня из пьяной солнечной комы, очкарик грустно сообщил: ничего не получилось, денег нет, кореш — сука.

Говорить я не мог, поэтому послал его про себя, развернулся и очень плавно направился к обочине ловить машину. Иначе добраться домой я мог только ползком. Направился плавно, но вдруг голова резко откинулась назад, а левую ногу выкинуло вперёд. «Вот это подстава!» — подумал я и еле-еле выровнялся. Очкарик, понимая, что от него уплывает возможность опохмелиться, стал увещевать меня зайти ещё куда-то. Я был непреклонен. Отмахнувшись от него, всё-таки добрел до обочины.

Вытянул руку, и сразу же, зашипев резиной, остановилась разбитая косолапая «пятёрка». В горле пересохло, адрес выговорил с трудом. Достал сто рублей и сунул водителю. Всё расстояние до моего дома занимало минуты три, поэтому никаких торгов не возникло. Я устроился как можно удобнее, растекся в кресле и стал мечтать о том, как спокойно вырублюсь дома.

Доехав до угла с 8-ой Советской, я увидел магазин. Меня вдруг охватила паника от придуманного предчувствия отходняка. Остановив водителя, я вывалился из машины и пошёл туда. Естественно, «пятёрка» тут же уехала. Выбрал «Охоту Крепкую», рассчитывая на моментальный эффект. Вышел, открыл зажигалкой и почти залпом выпил холодное, горькое, с каким-то миндальным привкусом пиво. Постоял минуту. Может, это самовнушение, но показалось: приживается моментально. До дома дотяну.

Справа тащится автобус. Можно доехать прямо до парадной, но надо пробежаться. Собираюсь и несусь через дорогу в сторону остановки. «Несусь» — преувеличение. Передвигаю ноги как во сне, еле-еле. Точно что-то невидимое удерживает меня.

Сзади раздаются крики: — Держите его!

А так как пьяный коматоз характеризуется ещё и трусливой паранойей (здесь сказывается гипертрофированное, присущее всем алкоголикам чувство вины), я оглядываюсь... И с этого момента начинается одна из самых страшных фантазмагорий в моей жизни

Догоняют двое парней. Поравнявшись, почему-то со смущением говорят: — Подожди! Остановись! С тобой хотят поговорить!

В их словах нет агрессии. Видно — они сами не очень понимают, что происходит. Их подталкивает и заставляет не пускать меня дальше истерический женский голос. Подбегает небольшого роста женщина лет тридцати, с землистым от курения и алкоголя цветом лица.

— Что, сверстницы не дают?! На молоденьких потянуло?! — кричит она мне в лицо. Её трясёт от ненависти или, может быть, от отходняка. — Ты кто вообще? — спрашиваю я, оглядывая всю компанию и предполагая их знакомство. — Сейчас менты приедут — узнаешь! — И, обращаясь к парням: — Ведите его на перекрёсток!

Добровольные дружинники, стесняясь навязанного им статуса, не касаясь меня, синхронно показывают руками в сторону перекрестка, лепечут: — Пойдём туда...

Я урывками оцениваю ситуацию. Урывками — потому что от психоза начинается отходняк, а при нем всё воспринимается отрывочно, и мысли рваные.

Понимаю: сил драться нет. Руки ватные, тело не подчиняется. Бежать, соответственно, тоже не могу. Поэтому... иду вслед за ними.

— Что тебе надо?! — грубо спрашиваю женщину, пытаюсь хоть что-то прояснить. — А ты что, не знаешь?! Не разговаривай со мной! — трясётся и брызжет она слюной.

Перекресток. Остановились. Ждем, как я понимаю, ментов. Присоединилась еще одна пожилая, так же помятая алкоголем женщина, похожая на ту, которая меня сопровождает. Пожилая суется, вглядывается пытливо в моё лицо, но моего прямого взгляда не выдерживает и тушует. Рядом стоит еще один крендель с «Охотой крепкой» в руках. На вид лет тридцать пять. Бухой и активный. Пожилая, понимаю, является матерью моей сопровождающей.

Происходящее напоминает вульгарную семейную драму. Я не понимаю фабулу, но она кажется мне простой и идиотской, поэтому я спокойно дожидаюсь с ними ментов, предполагая, что этим всё и закончится. Курю и теряю драгоценное воздействие «Охоты». Начинается отходняк.

Подъезжает «бобик», выходят непонимающие менты. Как я и предполагал, их вызвали без особого разъяснения. Немного успокаиваюсь и ещё больше убеждаюсь: сейчас всё благополучно закончится.

— Что случилось? — спрашивает один из ментов у всех стоящих, не понимая, кто потерпевший, а кто преступник. И тут молодая выдает: — Вот этот подонок, — показывает она на меня, — приставал к моей дочери!

Неприятная новость! Я моментально трезвею и теряю дар речи — в прямом смысле. Получается лишь невнятно вылепить: — Ты что... дура?! — Тихо, — вмешивается тот же мент. — Давайте по порядку.

Включается молчавшая до этого пожилая алкоголичка: — Моя внучка пришла из магазина домой... — Сколько лет внучке? — спрашивает мент. — Десять! Господа милиционеры, всего десять! А он!.. — Подождите. Разберемся. — И кидает уже в мою сторону: — Поехали.

Совершенно обалдевший, с пересохшим языком выдавливаю: — Куда поехали?.. — говорю и не узнаю собственный голос, словно он звучит у меня из-за спины. Дикое давление заложило уши, и меня нещадно трясёт.

— Давай-давай! — менты, игнорируя мой вопрос, с нетерпением подсаживают меня в «стакан» сзади «бобика».

Клацнул замок. Раз сбежать я не смог, теперь при любом раскладе меня доставят в отдел. В принципе, в этом событии для меня нет ничего необычного. Сама поездка не тревожит и не напрягает. Сколько раз меня, бухого, волокли туда и потом, протрезвевшего, отпускали. Но здесь — не обычная пьяная непонятка. Сейчас фигурирует, как я понимаю, ребёнок и разгневанные родители. Это делает моё положение близким к катастрофическому.

Ситуацию я до конца не понимаю, но ведь сидел и кое-что помню: там, где объект — ребёнок и есть факт нападения, статус обвиняемого в любых действиях незавидный. Не поверит поначалу никто.

Я сижу и молюсь. Менты, бабы и свидетели стоят где-то рядом. Слышу из машины, как те двое парней, ловившие меня, отказываются идти свидетелями. Очень обнадеживающий факт. Значит, ситуация — а они её знают более конкретно — невнятная.

В щель двери я видел, как менты что-то объясняли дамам, меня задержавшим. Те покивали и напоследок хлопнули по моей двери, заставив меня вздрогнуть. Менты сели в машину, и мы поехали в отдел.

Глава 2

Страшно трясло. То ли оттого, что этот автомобиль собирали из минимально возможного количества деталей, то ли так рассчитано — трясти отсек с преступником, усиливая психологический эффект давления. Не знаю, как на кого, но на меня это оказывало именно угнетающее действие. Помимо невнятных обвинений, повергающих в психоз, само это отношение — когда ты заперт в узкой темной кабине, при малейшей встряске тебя кидает на холодные железные стенки, железо гремит... Ощущение собственной ничтожности сжимает тебя, заставляя признать: ты, сука, человек сраный, и что высшие силы захотят, то с тобой и сделают. Это убивает и деформирует личность.

До отделения ехать две минуты, но они тянутся бесконечно. Я перебираю в голове варианты произошедшего, побега и дальнейших событий. Из-за обилия этих мыслей время спрессовывается, и я теряю связь с реальностью.

«Бобик» останавливается. Хлопают двери кабины. Шаги. Ключ гремит в замке моей маленькой темницы, откидывая эхо. Дверь открывается. — Пошли, — сухо, по делу. — Сейчас тебя заперём и будем судить!

Комок страха и безысходности поднимается к горлу, парализует. Вылезая, чувствую себя полным отбросом, в отношении которого все правовые условности уже соблюдены: осталось только поставить посередине двора-колодца и расстрелять.

Меня проводят в помещение. Кратко опрашивают: кто, какого года, где живу. Отвечаю. Опрашивающий капитан так спокоен, что его спокойствие передается и мне. Да, собственно, чего психовать-то? Трясучка затихает.

— За что его? — Девочку маленькую хотел изнасиловать, — ровно отвечает доставивший меня.

Я чувствую: могу прямо сейчас сойти с ума. Эта простая фраза не просто не укладывается в моей голове — она не помещается в сознание ни вдоль, ни поперек. Поднимается температура, я горю и одновременно меня трясет.

— Да ладно?! — капитан смотрит на меня с любопытством, словно на урода из Кунст-камеры. — Насильник, блядь, что ли?! Девочек маленьких, тварь, значит, любишь?!

Я не слышу собственный голос. Нёбо слиплось в засохшем рту с языком, я еле-еле что-то выдавливаю. — Что-что?! — переспрашивает капитан, без злости, но с презрением. — «Хрень какая-то!» — переводит мой шепот сопровождающий. — Хрень какая-то — это ты и твоя жизнь! А то, что с тобой будет — это просто пиздец. Сажай его! — резюмирует капитан.

Меня запирают, защелкнув звонкую щеколду камеры с передней стенкой из оргстекла. Я сел на скамейку и стал страшно прыгать, бегать, кричать, плакать — внутри. Снаружи же существовала застывшая мумия с искореженным от алкогольной абстиненции лицом и бешеными глазами.

Встал, принялся ходить взад-вперед. При движении как-то уравнивалось кипение внутри. Стоило присесть — и непонятная сила (сила страха, неопределенности, жалости к себе) подкидывала и заставляла снова двигаться. В голове пульсировала одна мысль: «Что делать?» Она перемежалась с запоздалыми сожалениями: «Почему я не пошел на работу?», «Черт меня дернул пойти с этим придурком!», «Если бы не пил — ничего бы не было!». Грязных, отвратительных красок моему состоянию добавляла удушливая атмосфера и запахи помещения, в котором я находился.

Запахи перебродившей грязи, пота, страха, сгнившего никотина и мочи... Затхлость такая, точно её держали в плотно закрытой бутылке. Я вспомнил: есть сигареты — и судорожно закурил. Едкий горячий дым вгрызался в легкие и, издеваясь над расширенными сосудами, как ни странно, немного успокаивал.

Покурив, я сел и закрыл глаза. Запрыгали разноцветные всполохи, голова кружилась, и снова затрясло. Эффект сигареты был кратковременным, и я снова забегал по камере. Единственное, что немного отвлекало — мельтешение в дежурной части. Наблюдая за ментами, я представлял, что они занимаются моим делом, и за этими мыслями минуты с секундами потихоньку пробегали.

Около моей двери появился здоровяк-конвойный. Собирался её открыть, но что-то его отвлекло, и он замер у замка, переговариваясь с кем-то. Я терялся: за мной? Нет? Куда? Наконец он протянул руки к замку, и я понял — идем. — Выходи, — равнодушно процедил здоровяк. — Куда? — выходя и трясаясь, спросил я.

Дрожь я унять был не в состоянии. Меня колотило, я трепетал всем организмом, превратившись в одну погибающую нервную клетку. Здоровяк не считал нужным отвечать на вопрос, лишь показал на коридор кивком головы. — В туалет можно сходить? — еле выдавил я из ссохшегося рта.

Здоровяк вновь кивнул в том же направлении. Я прошел в коридор, конвойный легонько направил меня к двери налево. Судя по её хлипкому и замызганному виду, стало понятно — это туалет. Войдя, обнаружил справа умывальник в крохотном предбаннике и дальше, в такой же тесной секции — унитаза.

Я стоял и долго мочился. Сперва от нервов вообще не мог начать, а теперь из меня бесконечно истекла жидкость, вытягивая вместе с собой тревогу. — Давай быстрее! — зло крикнул здоровяк из коридора. — Доделаю и выйду! — осмелев, крикнул в ответ я.

Тишина. Проглотил здоровяк. Я включил воду и жутко обрадовался маленькому обмылку. Вымыв руки, сполоснул лицо, смочил голову и впрок (черт знает, когда я еще попаду к крану) попил. Стало немного легче. Чуть поправившийся, я вышел к здоровяку. С мертвым лицом он показал мне на лестницу, поднимающуюся налево от коридора с «собачниками».

На втором этаже мы остановились. Здоровяк набрал код на двери, отделяющей вход на этаж. Открыл бойкий, коротко стриженный брюнет и флегматично бросил здоровяку: — А-а-а, это тот?.. Давай-давай!

Его спокойный тон меня не насторожил, а даже успокоил. Всё по плану — обычная последовательность... Но я ошибался.

Меня провели по широкому коридору в предпоследнюю дверь. Комната, как я понял, предназначалась для допросов: стол, пара стеклянных шкафов, стулья — и всё. Рядом со столом сидел светленький улыбчивый юноша. Навскидку я определил: он выше меня на голову.

— Давай, садись! — с той же интонацией произнес брюнет и опустил на стул напротив. Светленький смотрел куда-то в сторону. Мне показалось, они ждут чего-то своего, планируя быстро «отстреляться» со мной. Может, проясню что...

Сзади открылась дверь, и зашел кто-то еще. Судя по неизменности физиономий брюнета и светленького — зашел тот, кого ждали. Он подошел сбоку и встал. Я обернулся и неприятно удивился: накачанный, гораздо выше меня, неприятный тип.

Бамс! Оглушил хлопок по столу.

— Сюда смотри! — крикнул брюнет. — Рассказывай! — Что рассказыв-в-вать? — заикаясь, ответил я, от неожиданного хлопка вновь запсиховав. — Как девочку хотел изнасиловать. — Вы гоните?.. — пытаюсь собраться, выиграть время и понять, как лучше отвечать. — Что вы мне лепите?! До меня баба какая-то докопалась я с утра бухаю! Не понимаю, что ей надо было! Какая девочка?! — Маленькая. Десять лет, — спокойно ответил брюнет, глядя мне в глаза. — Вспомнил, ублюдок?! — включился белобрысый. — Нечего мне вспоминать! — орал я. — Я не знаю ничего! — И что же ты там делал? — спросил брюнет. — Пил с одним. Потом собрался домой ехать. Я живу рядом! — надрывался я. — Да ты не нервничай так! Ничего пока не случилось. Мы только выясняем. А может быть такое, что ты... — пауза, — сука задоренная, регулярно детей в подъездах ловишь и лапаешь? — мерзко улыбнулся белобрысый.

— Не-не! Не пришьете! «Манилу» из меня сделать хотите? — Ну, не «манилу», так педрилу! — заржал белобрысый. — В тюрьме тебя всё равно выебут. Вопрос времени. Ты же сидел — сам знаешь, что за такие дела у вас там

Я смотрел на него, и страх перемешивался с дикой злостью. Понимал, что они лишь провоцируют, выжидая момент для перехода к кульминации. И вдруг в глазах потемнело, боль расколола голову. Качок приложился затрешиной. — Давай, отвечай! Разлетится будка! — Я отвечаю! — потерялся я.

Кровь рванула в нос, заколола в сосудах, треснула. Голова вновь раскололась. Качок бил хлётко и чётко. Тяжелая смесь пива с водкой сказалась моментально: голова стала покрываться болезненными «гнойными» трещинами, и с каждой новой вспышкой боль распространялась по черепу, сжимая затылок и придавливая до слез глаза.

Когда тебя бьют и ты не можешь сопротивляться, становится очень одиноко. Кажется, ты больше не связан с этим миром — ты совсем один и больше никому не нужен — Что вам надо, блядь?! — крикнул я брюнету, понимая: он здесь главный. Я даже не смотрел на источник боли. Чем, видимо, задел остальных.

Бамс! Заложило и загорелось вдавленное в голову ухо. Открытой ладонью, тварь!

— Что сделать хотел с ребенком? — нарочито спокойно спросил Качок.

Я удивился: мне казалось, в его функции не входят размышления. И, как ни странно, его вопрос стер грань необходимого самосохранения. Я решил форсировать события, дабы не ждать, трясаясь от ужаса, очередного удара со спины. — Твоя дочка была? Извини, не знал! — вполоборота повернувшись к Качку, съязвил я. — Сука! Я тебя сейчас... — и последовала секундная пауза.

Я мельком скользнул взглядом по Брюнету и понял: Качок ждет его одобрения. Брюнет отвел глаза от него и посмотрел на меня: — Зачем схватил девочку? Тебя же бабушка видела! Сейчас опознают — и всё. Давай, пока еще не поздно... чистосердечное. — Ну! — перебил его я, вконец осмелев. — Давай бумагу, буду явку тебе писать. На эту и еще на пару сверху! Давай-давай, я — лох! Всё тебе подпишу!

— Слышь, ты, пидор. Ты че здесь выёбываешься?! — заговорил блондин, перегнувшись в мою сторону через спинку стула. — Да тебе жопа полная! Ты хоть понимаешь, что ты, тварь, по уши въёбся?! Мы забьем тебя сейчас до полусмерти, и никто нам ничего не скажет. В отношении такой мрази, как ты, у нас особое указание. Че ты смотришь на меня, пидор?!

Дико резало от этого оскорбления и, решив прекратить поток брани, я скорее сделал вид, чем действительно кинулся на него. В ту же секунду сзади за волосы и шиворот меня схватил Качок, до слез загибая голову назад. Светлый ударил в солнечное сплетение; дыхание перехватило, но чтобы восстановить его, я уже не мог согнуться — держали. Стул вылетел из-под меня. Быстро обойдя стол, Брюнет с Блондином по очереди ударили по печени и в челюсть, а затем потащили меня, перекошенного от боли, в коридор.

«Ну, — подумал я, — сейчас действительно начнется. На простор выносят».

Так и получилось. Со всей силы втроем приподняв меня, они вбили меня спиной и копчиком в пол. Я взвыл. Резкая боль прошла насквозь через пах в живот. — Фашисты, блядь! — я наивно предполагал, словно в детском саду, что от такого оскорбления враги замнутя и остановятся.

Качок ослабил, как тупая собака, и, приподняв ногу, с паузой садиста-гурмана ударил пяткой мне в пах. Екнуло в животе, возникло ощущение, что кровь потекла по ногам. К страху перед болью добавился новый ужас — могут сделать инвалидом. Что делать потом? Ведь могут и не специально, просто случайно выйдет... Я тяжело дышал, смотрел на них и думал: как бы испариться, дематериализоваться отсюда?

Сколько это может продолжаться, я даже не представлял, но неожиданно всплыли воспоминания десятилетней давности. Когда-то — кстати, в этом же коридоре — сутки с неболь-

шими перерывами из меня выбивали признание в ограблении соседей. Меня тогда пристегнули наручниками к трубе. Я сидел и ждал. Двигаться почти не мог — при малейшем движении «браслеты» сжимались, руки немели, кровь переставала поступать. Спустя какое-то время из кабинета выходили опера, били ногами, отрабатывая красивые «вертушки», и уходили. Через полчаса возвращались вновь. На час спускали в «собачник» — и снова...

А сейчас дело гораздо серьезнее, чем какая-то сраная кража фарфоровых кружек у соседей (кстати, смешная вышла история, чуть позже опишу), и давление, я понимал, должно быть серьезнее.

Смотрят. Оценивают. Качок сплюнул.

— Ну че, дьявол, сосать будешь? — улыбается блондин. — Хочешь попробовать? — бравирую я. — Доставай, аккуратно откушу. Словно так и было!

С размаха — удар в печень. Перехватывает дыхание. По печени удар больной — отдаётся везде и парализует. «Больно! Больно! Мне очень больно!» Но ничего этого говорить нельзя. Блондин и Качок за руки и за ноги поднимают меня и, подкинув, резко опускают на пол. Удар копчиком отдаёт спереди в мошонку, на пару секунд замыкает позвоночник. Я не могу дышать от боли, хватаю ртом воздух. Им весело.

— Как рыба! — смеется Качок.

Боль и беспомощность — мои родные, самые близкие сейчас существа. Боль — это именно что-то одушевлённое. Я не понимаю, как себя вести, чтобы её избежать. Кажется: даже если я начну поддакивать и соглашаться непонятно с чем, они всё равно будут бить. Это словно уже решенная и утвержденная экзекуция, которую я должен прочувствовать без права на обжалование. Единственное, что неясно — и от этого страшнее всего — как далеко они могут зайти.

Дав мне немного покорчиться и поняв, что основная боль прошла (или я притворяюсь), блондин хватает меня за волосы, Качок сзади — за ремень. Приподняв мои «остатки» — половина тела от резкой боли выдираемых волос поднялась сама — они волокут меня обратно в кабинет. Швыряют головой в стул так, что я разбиваю в кровь губы о сиденье.

«Я хочу домой! Пусть это всё закончится!»

Резко откинув голову от стула, получаю сильнейший подзатыльник. Встряхнутая голова вновь раскалывается. Боль в затылке и висках давит на череп, в глазах темнеет. Двигаться я начинаю хаотично — удар повредил вестибулярку. Машинально поворачиваюсь посмотреть на того, кто ударил. С точки зрения логики непонятно, какая разница, кто это был, но анализирующий рассудок зачем-то хочет это знать — бессознательно копит информацию.

— Вперед смотри, сука! — кричит сбоку блондин.

А с этим приемом я буду сталкиваться ещё ох как часто. Самое ужасное — предчувствие, а совсем не сам удар. Поэтому они и хотят, чтобы это было для меня неожиданностью.

— Ну что? — спокойно спрашивает Брюнет. Еле живым языком я отвечаю идиотским вопросом: — Что «ну что»? — Давай, рассказывай, сколько детей изнасиловал! — Да вы ебнулись, что ли?! — пытаюсь кричать я. — Что вы шьете-то?! Вы эту залупу себе оставьте!

— Послушай! — по контрасту с моим психозом спокойно говорит Брюнет, чем еще больше меня заводит. — Может же закончиться всё не так плачевно, если ты нам расскажешь обо всём сам. Конечно, мы еще немного тебя побьем за эпизоды, еще, может, ребята придут, полупят... Но ты живой хотя бы останешься. — А если нет? — глумлюсь я из каких-то непонятных последних мужских сил.

— А тогда будет расследование, будут маленькие потерпевшие. У нас есть «добро», кстати: если у тебя несколько детских «износов», можем и труп повесить... В общем, пиздец тебе тогда полный. Мало того, что от нас выйдешь инвалидом, в тюрьме отъебут, а в результате еще и пожизненное влепят.

Я совершенно ничего не соображаю. Алкогольный отходняк, соединившись с этим психологическим месивом, начисто сворачивает мне башку. Совершенно не понимаю, когда и, главное, как это закончится. Остановятся они на моих ответах или продолжают пытаться дальше?

В конце концов я понял: предполагать бесполезно. Надо отключиться от размышлений и просто следить за ними, чтобы они меня не запутали и не заставили давать нужные им показания. Тем временем продолжаются крики со стороны Блондина и Качка, летят оплеухи, голова мотается из стороны в сторону. Больно и страшно. Больше всего на свете я хочу остановить эти удары по голове.

— А ты только здесь такой страшный? — выбираю я «симпатиягу»-блондина, чувствуя: его можно завести. — Где власть, кореша кругом, втроем дуплить одного — много духу не надо. А дома, наверное, жена надевает strapon и шевелит тебя потихонечку?! У таких как ты, садистов, обычно башка сдвинута. Ты как мистер Хайд: днем — порядочный мент, а ночью

Я не успел договорить. Мне удалось: блондина я задел. Он кинулся на меня, схватив за грудки и отмахивая удар за ударом — в челюсть, в висок, в нос. Качок с Брюнетом без слов подключились и опять «за руки — за ноги» вынесли в коридор.

Еще минут десять они били меня ногами, и я потихоньку стал отключаться. Тут Брюнет схватил меня сзади за пояс джинсов, и что-то засверкало. Я не разглядел, но понял — это нож. Они вспороли джинсы по шву. — Щас, Лёша, будем тебя ебать! — первый раз за всё время мне озвучил прямую угрозу Брюнет. — Потом снимем на видео и отправим за тобой в тюрьму.

Брюнет и Блондин держали меня на весу и по очереди били. Брюнет в это время сдернул остатки разрезанных джинсов. У меня перехватило дыхание от ударов и злости. — Ну всё, пипец, Лёша, сейчас всё и начнется, — спокойно сказал Брюнет.

Я собрался и прохрипел: — Только унижьте, суки! Найду потом и завалю! — сказал как можно злее. Я утрировал злость, четко понимая: это блеф.

Немного я еще повисел и был аккуратно брошен на пол. — Успокойся. Никто, Лёша, трогать тебя не будет, — и, услышав интонацию Брюнета, я понял: всё закончилось. — Иди, сядь в кабинете, сейчас штаны тебе дам.

Я зашел в кабинет. Мне дали какие-то спортивные штаны, и началась совсем другая беседа.

— Давай, короче, рассказывай, как всё было. Начиная с самого утра, мною была изложена бессмысленно-пьяная повесть.

— Понятно, — опустил глаза Брюнет. — Естественно, никого из этих собутыльников не найти? — Почему?! — я обрадовался внезапному участию опера, глупо надеясь, что они и вправду начнут разбираться. — Они все на своих местах сидят и пьют. Их на этих скамейках найти несложно! — Хорошо. А номер машины, которая тебя подвозила, помнишь? — Нет. Номер — нет. Просто белая «Лада» с круглыми фарами, — засуетился я, судорожно вспоминая, что еще можно выудить из событий этого дня.

— Ладно. Давай теперь это всё запишем, и получится, что объяснение с тебя взяли... — Брюнет начал медленно писать, растягивая слова.

Набросав мой рассказ, он дал мне его подписать и спросил коллег: — Ну, чего теперь с ним делать? — А давай в информаторы его возьмем? — предложил Блондин с издевательской улыбкой.

Я, почувствовав призрачную возможность обмануть их, закивал: — Давайте! Я только за! — Да ты гонишь! — обрезал Брюнет Блондина. — Он же бык! Кинет нас.

— Давай, короче, рассказывай, как всё было. Начиная с утра, была изложена бессмысленно-пьяная повесть.

— Понятно, — опустил глаза Брюнет. — Естественно, никого из этих собутыльников не найти? — Почему?! — обрадовался я внезапному участию опера, думая: может, и разбираться начнут. — Они все на своих местах сидят и пьют. Их на этих скамейках несложно найти! —

Хорошо. А номер машины, которая тебя подвозила, помнишь? — Нет. Номер — нет. Просто белая «Лада» с круглыми фарами, — засуетился я, не зная, что еще рассказать из событий этого дня. — Ладно. Давай теперь это всё запишем, и получится: объяснение с тебя взяли... — растягивая слова, начал писать Брюнет.

Набросав мой рассказ, он дал подписать и спросил коллег: — Ну, чего теперь с ним делать? — А давай в информаторы его возьмем? — предложил Блондин с улыбкой. Я, почувствовав возможность обмануть их, закивал: — Давайте! Я только за! — Да ты гонишь! — обрезал Брюнет Блондина. — Он же бык! Кинет нас.

Афера с карьерой стукача не вышла, но диагноз «бык» порадовал, поднял самооценку. — Всё, Лёша! Иди отдыхай, — устало завершил Брюнет. — Попал ты, конечно, в полную жопу!

В этой реплике я услышал сочувствие. И на том спасибо. Вызванный Здравяк, не удивившись моему виду, отвел меня в «собачник», где уже сидел какой-то неврастенический парень, и так же молча запер за мной дверь. Я сел на лавку, закрыл глаза. Тело наконец расслабилось. Страх отступил, стало легче, но ясность не проявилась.

К тому же этот псих яростно ходил взад-вперед, не переставая ругать ментов, периодически кидаясь на дверь и колошматя по ней руками и ногами. Дежурные внимания на него не обращали и беспечно занимались своей рутинной. Их собирали на вызов, перенаправляли, требовали отчеты, заставляли писать объяснительные. Такие персонажи, как мой теперешний сосед, для них не редкость, и всерьез долбежку в двери и крики никто из них уже не воспринимал.

— Есть курить-то? — решил наладить со мной контакт коллега по несчастью. — Есть, но пара штук всего! — зло ответил я, не желая делиться с ним. — Давай покурим, мне принесут сейчас. Моя должна подойти, она знает, что я здесь! Точно сейчас подтянется, — заканючил сосед.

У меня не осталось сил противостоять ещё и ему, и я протянул ему одну из двух сигарет, сам взял последнюю. Закурили. Он немного успокоился, присел. — За что тебя? — больше для проформы, чем из интереса, спросил он.

Понимая, что рано или поздно придется рассказывать свою историю, я подумал: можно начать сейчас. Тогда я считал, что по прошествии времени, из-за частых повторений, притупятся переживания и я смогу легко, может быть, даже с иронией, отстраненно живописать события этого дня. Но я жестоко ошибался. Каждый раз, с каждым новым собеседником, каждым новым повтором я не просто вспоминал всё заново — я проживал этот день с нуля.

Глава 3

Сейчас же я нехотя обрисовал свою ситуацию первому слушателю. — К ребенку кто-то приставал в парадной. Меня, бухого, взяли и крутят на это. Собеседник оживился. — Изнасиловали? — Нет. Вроде нет. Менты мне не говорят, что там произошло. Я так, по обрывочным фразам составляю. — Плохо дело, — покачал головой собеседник. — А ты откуда здесь взялся? — Гонишь, что ли?! — психанул я. — Я тридцать лет тут живу, в пяти минутах ходьбы от Новгородской, где взяли. — Я сам-то с Новаторов. Здесь подруга живёт. Тебе надо что-то делать, иначе упакуют надолго! — анализировал сосед. — Что делать?! — Да хрен его знает! Я про себя-то не знаю... А тут ты вопросы задаёшь, — перевернул разговор на 180 собеседник.

Я понял: мало толку слушать советы такого умника, и, отвалившись на «шубу», закрыл глаза. Затылок и я больше думали об удобстве, чем расслаблялись. «Шуба» резала кожу и мешала. Натянув на голову плотную куртку (подарок одной моей страстной привязанности с рынка), я более спокойно облокотился, вытянул ноги и закрыл глаза. Но не тут-то было!

— Пидарасы, у меня на днях приступ был! Мне в больницу надо, у меня врождённый порок сердца! Сейчас кинусь здесь — заебётесь откачивать! Ты что, не слышишь, дьявол жирный?! — бросался мой сокамерник.

Какой тут отдых? Он колотил в дверь руками и ногами, не останавливаясь ни на секунду, изошрённо посыпая оскорблениями флегматично болтающихся по дежурной части ментов. Наконец минут через десять его вопли возымели действие на сотрудников, и к нашей двери подошел мой знакомый Здоровяк. Встал, равнодушно наблюдая через грязное оргстекло двери за моим соседом. А тот не унимался ни на секунду.

Тогда Здоровяк медленно открыл дверь камеры. Установилась тишина. Мент медленно подошел к соседу. Я уже понял, что будет происходить дальше, и инстинктивно подобрал ноги. Резко, по очереди, правой-левой он всадил ему две четкие затрешины. Сосед молча рухнул. Здоровяк с непроницаемым лицом посмотрел на него и медленно вышел.

Когда он ушёл, сосед, усевшись рядом, ничуть не сломленный затрещинами, попытожил: — Ладно, сейчас главное дожидаться бандак от моей. А потом можно опять им кровь сворачивать.

Я был уже благодарен судьбе за его появление. Наблюдая за ним, я волей-неволей отвлекался и забывал о своём. Но тем жёстче было отрезвление, когда сосед замолкал и вновь накапывал ужас и неясность впереди. Начинался мандраж. Я с нетерпением ждал очередного прорыва соседа. Наконец-то! Он повис на двери и принялся орать: — Пропустите, суки! Маша, я здесь! — И уже мне: — Приехала.

Я поднялся посмотреть на «декабристку». За толстыми спинами ментов отчаянно жестикулировала вполне симпатичная и ухоженная девушка. Еще какое-то время длились препирательства, но соседу был передан долгожданный пакет. Нёбо, язык и горло так высохли, что холодная кола просто прокалывала сухость иголками холодных пузырьков. Перекусили. Распечатали пачку «Петра» и закурили. Сытость немного сняла напряжение, и мне даже начало казаться, что где-то маячит возможный исход.

— Ладно. Я немного сигарет с собой возьму, пакет тебе оставляю. Ты сейчас не вписывайся — у меня своё, — огорошил меня сосед и вновь направился к дверям.

Следующая истерика подзатынулась — менты вообще не реагировали на его крики. Правда, через двадцать минут к камере подошел Здоровяк в компании с молодым склизким усачом (из тех, которых постоянно шпыняют в школе) и молча открыл дверь. Одновременно прямыми ударами ног они забили соседа под скамейку и стали с наслаждением всаживать в него крепкие носы своих «хайкингс». Поначалу скандалист орал, через пять минут он лишь

хрипел. Я не выдержал: — Вы убьёте его! — Завали ебало, насильник, — не поворачиваясь ко мне, кинул усатый.

И я... заткнулся. Потому что это определение задавило во мне остатки личности. Однако они всё же перестарались, и укоризненно покачав головой, пришедший дежурный всё же вызвал скорую. Сосед хрипел. Приехавшие через пятнадцать минут молодые брезгливые санитары оформили бумаги и забрали парня с собой. Я остался один. С пакетом сдобы, лимонада и куревом, но один.

Наедине с собой, ужасной, непонятной, безысходной ситуацией. Камера, где каждый день на протяжении лет тридцати боялись, сходили с ума, искали выход, ловили страшные отходняки от алкоголя и героина, беспрерывно курили, выдыхая ненависть, мочились в лимонадные бутылки, проливая избыток на пол под скамейку, оставляли свой переработанный запах невольные сидельцы, — обступила и спрессовала меня в неодушевленную пакость.

Вновь пойманных нарушителей сажали в соседние камеры. Я же почему-то оставался один. Весёлые алкоголики резвились, орали, протестовали, затихали, слезно просили в туалет, засыпали, а я был вынужден один фантазировать, представлять происходящую движуху у соседей. Не за что было зацепиться. Всё потеряло смысл. Ни фантазии, ни мечты, ни воспоминания — ничего не трогало. Не хотелось развивать и обглаживать. Казалось, потеряны все возможные связи, потеряно прежнее значение всего.

Угнетало ощущение бессилия. Ты не можешь повлиять ни на что, пока система не осуществит всё, что запланировано схемой, инструкцией, законом. И твой мир, где ты привык что-то переигрывать, менять, кричать: «Подожди, я перехожу!» — и получать снисхождение просто «за красивые глаза», этот мир неожиданно утратил свою реальность. И ты сидишь совершенно голый, беззащитный, ссущийся от страха под аналитическим взглядом чертовой ментовской машины.

Движения затихают. Пьяные спят, выблевав всю свою истерику на ментов и сокамерников. Их утром отпустят, и они смогут, перейдя дорогу от отдела, зайти в магазин «24 часа» и, трясущимися руками схватив холодное пиво, запрокинуть голову и выдуть всю бутылку за минуту, купить вторую и не спеша посасывать её на свободе по дороге домой. Сколько раз я так же, почти счастливый, «освобождался», шел домой, ложился спать и начинал жизнь немного заново. Теперь же, Алексей, ты перед железобетонной стеной, перед которой есть прошлое, но будущего нет.

Полудрема... состояние полуотключки... хорошо... девушки... праздник какой-то... Лязгают двери, морщю лоб, открываю глаза, до конца не понимаю, что они видят. На пороге — Здравяк.

— Пойдем. Я вскакиваю. Озноб от возможных неприятных неожиданностей. — Куда? — Повернись, — игнорируя мой вопрос, Здравяк держит в руках наручники. — Который час, хоть скажи?! — Полдесятого.

Полдесятого?! Это я в ментовке всего три с половиной часа?! Самое страшное откровение. Так изощренно время надо мной еще не издевалось. Я в полной уверенности: сейчас ночь, скоро рассвет, допрос и т.п. А оказывается...

Иду перед Здравяком, направляющим меня. Выходим из дежурки в общий коридор. Повезут меня куда-то, что ли? Экспертиза? Какая может быть экспертиза в моем «деле»? Хрень какая-то! Коридор, коридор, сидят бабы какие-то с ребенком... СТОП!!! Это же те: молодая и пожилая, из-за которых я здесь. На коленях у молодой — девочка, смотрящая на меня без страха, скорее с любопытством. Меня проводят перед ними, доводят до входной двери, останавливают, что-то обсуждая (к Здравяку подключился еще один конвойный). Время идет — ничего не происходит. Здравяк берет меня за наручники.

— Пошли. Возвращаемся обратно. — Что это было?! — злюсь, не понимая, я. — Позже поедем. — Куда? Молчание. Здоровяк снимает наручники, заводит в камеру. — Стоп! — говорю, вспомнив, что у меня разбито всё лицо. — Я хочу в туалет.

Здоровяк отводит меня. Я моюсь, оправляюсь, становится полегче. В камере — кола и плюшки. Поел немного, запил колой и, откинувшись на «шубу», закурил. И куда меня хотели отвезти? Не понимаю. Странно это... Бабы эти с ребенком там сидели. Так поздно бедного ребенка допрашивали, что ли?

...Блядь! Какой я debil! Меня показывали! Провели специально перед ребенком, чтобы она смогла меня опознать потом... Суки!!! Ведь при таких историях обязательно опознание... А узнать девочка меня не могла бы. Теперь у меня окончательно все надежды на возможное освобождение отпали. Следствие настроено серьезно, раз позволяет себе такие фальсификации.

И всё равно где-то на задворках сознания маленькие розовые молекулы шептали: «Да не волнуйся! Это совпадение. Просто допрос у них долго был, и они ждали оформления какого-то или каких-то указаний. Случайно ты оказался перед ними. Не волнуйся». Совершенно неведомой мне силой эти молекулы задавили на время депрессивные мысли, и я немного успокоился.

Поев и накурившись, даже немного подремал, упершись затылком в мерзкую «шубу». Приснилась комната, Дэвид. Он кинулся ко мне с игрушкой: играть, играть! Колотил хвостом и весело ворчал. Очнулся, сердце защемило — сколько меня здесь продержат? Как он там, в закрытой комнате, без еды, в одиночестве? Лучше не прокручивать это без конца — я расправляю себя, зная, что сделать ничего не могу.

Я с завистью слушаю проснувшихся дебоширов из соседних помещений. Алкоголь трансформируется в сивушную, давящую на мозг составляющую. Полностью испарился компонент веселья и беззаботности. Встал, походил, поотжимался от обхарканного пола, сел. Тело не может найти положение, когда можешь сидеть и спокойно отдыхать. Как бы ни сел — все равно неудобно. Если одна рука отдыхает, то вторая болит и ноет. Какой-то патологический дискомфорт. Я не могу сосредоточиться: как только одна мысль появляется, то, даже не оформившись, теряет свои очертания и исчезает.

Теперь уже точно давно ночь. Мне удалось выяснить: около трех часов. Я не хочу ничего, только жду утра. Должен прийти следователь, будет что-то (допрос, опознание), когда я смогу повлиять, проявить свою волю, высказать мнение... А не, вперившись отупевшим взглядом в уродливо-грязную «шубу», бесконечно задавать себе один и тот же вопрос: как же так случилось? Самое ужасное — это навязанное уединение. Хоть бы посадили какого-нибудь синяка, я бы с ним потрепался, отвлекся.

Ночь. Мерзкий, тусклый свет. Вонь, к которой не привыкаешь. Режущая обоняние так, как если бы тебя только что закрыли. Ни звука. Все заснуло. Хочется завывать, но это ничего не изменит...

Очень тяжело, медленно, издеваясь, прошла ночь, и началось что-то похожее на утро. Начали приходить, отмечаясь со смены, одни, и другие — свежие, заступающие и принимающие дела. Дежурная часть оживает. Менты ходят с бумажками туда-сюда, а я слежу за каждым их перемещением. И кажется порой: их действие — по моему поводу. Сейчас подойдут ко мне, объявят решение... Но... Ничего не происходит. Мои нервы не выдерживают, я зову дежурного.

— Чего тебе? Единственное, чем я могу обосновать свои действия: хочу в туалет. — Выведите поссать. Открывает дверь. — Пошли.

Я не хочу никуда, но это позволяет узнать мне, который час, и задать вопрос про следователя. — Скоро должен подойти.

Сейчас девять утра, они ждут его к десяти. Можно сказать, я рад. Есть цель, и не такая абстрактно-далекая. Я начинаю ждать следователя, откинув все остальные размышления. Продолжаю беспорядочно ходить по камере. От дверей к стене и обратно. Изредка вижу: кто-то из ментов смотрит в мою сторону. Я прижимаюсь к прозрачным дверям и ловлю звуки, жесты,

мимику — может, обо мне? Тщетно. Тишина и неизвестность. Тишина — потому что в камеру долетают лишь маленькие отзвуки движухи в дежурке. Спать я уже не могу. Курить не лезет. Кола выпита. Судорожно давлюсь ржавой водопроводной водой. Утро дает какую-то надежду по контрасту с глухой, черной ночью. На что я надеюсь — не понимаю, но прихожу к выводу: пусть происходит хоть что-то, даже уже неважно, с каким знаком, лишь бы не это болото.

Прошло, по меньшей мере, уже несколько часов. Я устал ходить, устал сидеть, устал. Сколько ещё таких дней впереди?.. Кружится голова, болит, страшная слабость и полное отупение. Уже ничего не жду, просто не знаю, куда поместить свое туловище так, чтобы оно не страдало и не ныло. Вдруг к камере подходит мужичок лет пятидесяти пяти в старом бадлоне и убитом пиджаке. Скользя по мне взглядом, называет мои инициалы. Я судорожно киваю. Сердце колотится. Я прилип к двери. Скользя еще раз по мне, он ушел куда-то в дежурку. Мне показалось, что у него был участливый тон — может, желание сожаления в голове интонационно складывает в мою пользу любое обращение ко мне. Жду. Проходит где-то полчаса. Становится понятно: он не похож на следователя. Совершенно отрешенно, не думая об условиях, колочу в дверь. Приходит копия вчерашнего Здоровяка.

— Че надо? — Следователь когда придет? — Уже пришел. Сейчас вызовет, — с невозмутимым видом разворачивается и уходит. Значит, этот. Сидим, ждем.

Пожалуй, сейчас могу вспомнить историю моего ареста по подозрению в ограблении соседей по коммуналке. Одним солнечным днем меня забрали в это же отделение. С незначительными перерывами меня лупасили молодые опера, пристегнув одну руку наручниками к батарее, а другую — к скамейке. Я пытался повернуться, облегчая положение рук, и наручники сжимались на запястье, перекрывая кровь. Руки немели — я боялся, отомрут ткани... Хотели от меня признаний в ограблении соседей, у которых, судя по заявлению, украли несколько фарфоровых предметов, хрусталь, что-то еще. И как маленький бонус — от других соседей еще одно заявление со списком попроще: алюминиевый чайник, сковородка, отбивалка, мясорубка и еще какая-то хрень.

Бьют — я молчу. Придумываю несуществующего приятеля, который мог во время своих посещений, пользуясь моим беспамятством под наркотиками, всё это украсть. Мне и верят, и не верят: лупят и ласково уговаривают... Небольшой отдых в камере, снова в кабинеты. Крепкий здоровый мужик представляется: зам. оперативного отдела. Всем своим видом я проникаюсь субординацией и начинаю разговаривать подобострастно.

Снисходительно выслушивая мой лепет, он серьезным голосом сообщает: «Плохо дело, Алексей». По его представлению, видимо, такое акцентированно-уважительное обращение по контрасту должно было усилить эффект новости. «Мы обнаружили твои отпечатки пальцев на месте преступления. Полная доказуха. Ты сядешь». Эта новость меня бодрит. Я понимаю: есть шанс.

Ситуация была вот такая: в моей коммуналке у соседей исчезли вещи и были сданы в соседнюю скупку на мой паспорт. (Зам. оперотдела махал мне распечаткой). По всему ясно — это украл и продал я. Но есть нюанс. Действительно, я ограбил соседей, но каждый раз, когда вскрывал их двери, надевал шерстяные перчатки. В скупке же работают очень ленивые люди, не удосужившиеся проверить, как я сдаю вещи. Год назад мой паспорт куда-то делся. И, продолжая сдавать в скупку вещи, я пользовался заграном для идентификации, а работники в чеке указывали данные утерянного паспорта, чтобы не исправлять. А по потере которого я дальновидно написал заявление. Поэтому, когда опер сказал про отпечатки, я понял, что они в тупике, и радостно преподнёс историю про потерянный документ. Меня поддержали еще несколько часов и, пару раз отпиздив, отпустили с напутствием: «Мы тебя всё равно, сука, посадим!»

— Давай на выход! — голос выдернул меня из воспоминаний.

Направо по коридору вошли в комнату-тупик. Посередине стол, слева какой-то темный закуток, справа окно. За столом сидит мой утренний гость — пожеванный дяденька. Рядом с ним другой, того же возраста, но почище и побогаче одетый. Адвокат, видимо. Поздоровались и затарахтели одновременно. Следователь на чём-то настаивал, адвокат горячо протестовал. Как для человека, поработавшего в театре и написавшего немало рецензий с анализом драматургии, режиссуры и игры актёров развод этих сраных клоунов, делающих вид честного процесса, был смешон. Но всё же они запудрили мне голову своими диалогами, и я немного поверил, что сейчас мы будем искать правду.

— Скажите, пожалуйста, как всё было?.. — начал следак. — И что это у вас с лицом?.. В куске туалетного зеркала я видел: всё лицо было разбито. — Опера веселились, — сказал я.

Следак пристально изучил мои ссадины и глубокомысленно выдохнул. — Ну да, перестарались, как всегда, — мягко заключил он. И было понятно — он не против, в принципе, таких методов дознания. Слишком, по его мнению, они меня отделали. Минус один синяк — и нормально. Словно существует таинственная таблица, состоящая из индивидуальных характеристик задержанного, тяжести обвинения, глубины опьянения, и она прямо пропорциональна количеству ударов, сдавливанию, силе удушения, которые могут себе позволить при допросе.

Тогда, в отличие от адвоката, смотрящего сквозь меня, мне показалось, что следак сочувствует. Сочувствовал он, как же?! Размышлял: узнает меня девочка или нет. Сказали ей о разбитом лице или нет. Задав пару незначительных вопросов, он стал записывать мои показания. Адвокат сосредоточенно изучал стену, всем своим видом давая понять: мне не надо задавать никаких вопросов! Я понимал — ему на хрен не интересен я. Денег у меня нет. Личность я — никакая. В общем, со мной схема «бюджетный вариант», никаких дополнительных заработков.

Следак закончил. И дав мне написать сакраментальную фразу «С моих слов записано верно. Мною прочитано», отправил меня обратно в камеру. — А что дальше? — спросил я. Следак проигнорировал мой вопрос, уткнувшись в бумаги. Меня увели. И ещё час я болтался по моему временному убежищу, с которым уже свыкся. Чуть позже, услышав высокие женские голоса, понял — пришли мои потерпевшие. Вновь вывели в то же помещение. Куртку оставил в камере. Следак внимательно посмотрел на меня: — Разве так были одеты? — Нет, — зачем-то искренне ответил я, — куртка была ещё. — Идите наденьте, — повелел мне, раздражая своим ущербным видом, следак.

Я вернулся в камеру, надел куртку, а когда вернулся в помещение — появились еще двое молодых людей, приглашенные, видимо, в качестве подсадных для опознания. Между собой мы были совершенно не похожи ни по облику, ни по одежде (требование УПК — мы должны быть максимально похожи) Тем более что лицо красочно разбито было только у меня. Я вспомнил, как лет в шестнадцать, проходя с другом мимо этого же отделения, оказался ровно на их месте. Нас позвали как подсадных. В отделении сидел лысый парень, и нас посадили с ним рядом. Через пять минут ввели какую-то молодую корову, которая утверждала, что он её изнасиловал на Московском вокзале. Обладая нервной фантазией, я представил: девушка сейчас возьмёт и опознает меня. Сейчас я умолял небо: пусть опознают кого-нибудь из этих двоих! Им всё равно ничего не будет, а мне поможет, возможно, потом.

— Сука, ублюдок! — произнёс, не глядя на меня, один из подсадных.

Прекрасно понимая, что речь идёт обо мне, я покраснел, но ничего не сказал. Тут сзади, из коридора, я услышал женский голос. Сейчас начнётся!.. Через минуту я был готов провалиться сквозь землю. Перед нами стояла женщина, с которой я ругался вчера, а к ней жалась крохотная девочка, на вид лет восьми. Ребёнок, совершенно не смущаясь и немного кося, с любопытством разглядывала нас. Я с подсадными стоял напротив. И тут мне стало интересно: как она отреагирует на меня?

Девочка абсолютно равнодушно скользила взглядом по нам троим по очереди. И на её лице ровным счётом вообще ничего не отражалось: ни удивления, ни страха. Вспомнить

ничего. Она никого из нас не знала. Если ребёнок врёт, то врёт он по-своему, исходя из своих представлений о том, что надо говорить в тот или иной момент. И всегда это обусловлено позицией родителей: что прилично — что неприлично, что надо говорить — а что никто не должен знать. У детей нет разделения на правду и ложь. Есть правила: говорить надо так-то и так-то. Девочка не собиралась лгать. Ребёнок совершенно спокоен. Ничего ему не угрожает. Девочка даже до смешного сосредоточена. Это игра. Она пришла поиграть в игру, где ей рассказали правила.

Следак зачитал фабулу преступления, и я наконец узнал, в чём конкретно меня обвиняют. На девочку напали в парадной, когда она возвращалась домой. Мужик схватил её, стал лапать. Она закричала — так как они живут на первом этаже. Мужик убежал. Спустя же полчаса взяли меня. Бабушка узнала меня по куртке, в которую я был одет. То есть ни девочка, ни бабушка этого мужика в лицо не видели.

У меня появилась надежда на счастливую развязку: меня никто не опознает и, извинившись, отпустят. Хрен с ним, можно без извинений. Но у ментов был свой план, не подлежащий отмене.

— Скажи, пожалуйста, — обратился следователь к девочке. — Кто из этих трёх дядей вчера напал на тебя в подъезде?

Девочка спокойно посмотрела на нас по очереди. Потом подняла глаза на маму, та ей кивнула. Девочка посмотрела на следователя. Тот кивнул и сделал непонятный жест рукой. Он не показывал конкретно на меня, но я был уверен, что это был какой-то знак. Девочка вновь посмотрела на маму, та сжала ей руку и что-то еле слышно произнесла. Отвернувшись от мамы и почти не глядя на меня, она сказала: — Вот этот.

Следователь уточнил: — Мужчина, стоящий посередине? Второй справа? Ребенок вновь посмотрел на мать и кивнул.

— Так Подпишите здесь, — сказал следак матери и, уже обращаясь ко мне с адвокатом: — Думаю, мы можем отпустить девочку? Адвокат закивал, как собачка на торпедке. Следак сделал жест. — Проводите, — дежурным, стоящим рядом.

Как только дочь и мама ушли, оборвалась единственная связь с надеждой на благополучный исход. — Послушайте, — воззвал я к адвокату, — вы же видели, как они жестами обменивались?! Вскинув на меня удивлённые глаза, адвокат спросил: — Кто обменивался? — Вы что, из меня дурака делаете?! — психанул я. — Тебя вообще убить мало, — услышал я сбоку голос одного из подсадных. — Тебя, блять, вообще кто спрашивал?

Следак, сука, с любопытством наблюдал. — Да таких, как ты... — продолжал подсадной. — Так. Уведите его. А то тут смертоубийство начнётся, — брезгливо отмахнулся от меня следак.

Я дико разозлился. Подача была такая, словно они уже вину доказали, по приговору назначен расстрел и меня, пусть и обреченного, но надо сохранить до казни. — Какое на хуй смертоубийство? Я его с говном сожру! — рявкнул я. Подсадной, видимо исчерпав запасы своей бравады, что-то пробурчал невнятное мне в ответ.

Меня увели. Я психовал в камере, понимая, что всё это были отдельные части спектакля. Задача в целом выполнена. Меня отвлекли. Замечаний в протокол опознания я не внёс. А ведь на суде это могло мне очень помочь. Всё то, что я сказал адвокату, надо было занести в протокол. И тогда на суде можно было бы этим как-то жонглировать.

В камере стало жутко и совсем пусто. Исчезла надежда на какие-то изменения. Впереди лишь долгая и нудная дорога в тюрьму. Заседание об избрании меры пресечения. И Тюрьма. Надолго. А насколько надолго?.. Вновь стал ходить взад-вперёд.

Паника заполняла целиком. Колотило — тело превратилось в одну сплошную оголенную струну, вибрирующую от каждого шороха. Осознание: с таким обвинением ты самый последний в этой команде. Самый! Даже к насекомым относятся лучше в тюрьме, чем к насильникам

детей. Я только ходил и повторял: «Что делать? Что делать? Что делать?» Присев на скамейку, решил наслаждаться, пока есть возможность, одиночеством. Чуть успокоился и вырубился.

Дэвид прыгал, приносил косточку и просил вновь кинуть. Радостно ворчал и лез целоваться. Обнимал его, чувствуя запах грязной шерсти. Он тяжело дышал, прижавшись ко мне.

Разбудил звук открывающейся двери. Клон вчерашнего Здравяка отрезал: — Собирайся. — Куда меня? — В ИВС поедem.

Глава 4

Это, скорее всего, на Захарьевской. Там фсбшная тюрьма и изолятор временного содержания Центрального района. Успокоился: ещё одна хотя бы спокойная ночь. Вывели, застегнув наручники за спиной. Посадили в задний отсек, расположенный как раз над колёсами. Трясло. Приходилось, уперевшись ногой в стену, амортизировать тряску. Ехали чёрт знает какой дорогой. И хотя на самом деле было пять минут езды, получилось — целые полчаса.

Остановились, и по звуку открывающихся каких-то больших железных дверей я понял: приехали. Я криво выполз. Большой, даже огромный двор-колодец. Кругом специализированные машины. Расхаживают очень крепкие менты с пиздец какими серьезными лицами. На меня — ноль внимания. Провели на первый этаж. Быстро оформили и подняли по петляющей лестнице наверх, где-то на четвёртый.

Огромный коридор, толстые непрозрачные с впаянной арматурой стекла. Справа — камеры. Тихо и спокойно. Сопровождающий открыл дверь-отсек, и я зашёл. Две шконки по стенам, стол с приваренной к нему скамейкой, умывальник, унитаз, полочки на стене. Светло-серый перемежается со светло-голубым. Не напрягает, но опустошает. Постирал носки, ложусь на матрас. С остервенением кутаюсь в одеяло — оказывается, я замёрз.словно зародыш, преждевременно выкинутый матерью. Страшно и одиноко. Сжимается сердце и стучит пульс в ушах. Открыл глаза — оказывается, провалился в сон.

Из-за постоянного напряжения стирается грань между сном и явью. После такой дрёмы нет ощущения отдыха. Разбудила открывающаяся кормушка. Обед. Есть не хочется, но я беру. В сравнении с дежурной частью здесь глухая, дистиллированная тишина. Заставил себя поесть и стал шататься по камере. Поотжимался, снова умылся, лёг. Хотя бы сейчас меньше психоза. Закрыв глаза, натянул одеяло, стараясь найти в памяти что-нибудь весёлое и светлое. Что ещё?! Лязгает дверь, и у меня сразу же тяжело тянет сердце.

— Собирайся! — Куда? — психуя, дрожащим голосом спрашиваю я. — На суд. Меру изберут. — Потом обратно? — Нет. Потом уже в тюрьму. Давай, поднимайся. Через десять минут выходишь.

Закрыв дверь. Меня словно выскребли, как при аборте. Даже не дали отдохнуть, ублюдки. Теперь — подготовка. В тюрьме надо быть готовым к любому кругу преисподней. С таким обвинением — а моя статья носит название «Развратные действия в отношении несовершеннолетних» — не приходится надеяться ни на снисхождение сокамерников, ни на защиту ментов. Хотя к последним я никогда не обращался за помощью, и поэтому я совершенно не знал «безопасного места». Вполне можно было подойти в любой момент и попросить разместить меня отдельно. Но вместе с тем тюрьма — такая структура, где рано или поздно со всеми встречаешься. И те, кто видел, как ты кланчишь у ментов эту помощь, могут когда-нибудь на персылке, в каком-нибудь «собачнике», тебе что-нибудь высказать по этому поводу.

А тогда... Зэки в своём большинстве кипят говном от собственной неустроенности, ущербности и невежества. Им только дай унижить кого-нибудь — желательно за такой косяк, в котором собственное рыльце в пушку. Тот, кто «ломится», обязательно будет растерзан по полной. У многих в прошлом есть подобный грешок.

В общем, я ехал в Смольнинский суд вместе с какими-то мутными пассажирами и старательно делал вид, что сплю. Так, мне казалось, у соседей будет меньше желания интересоваться мной. Но они и так были поглощены собственными заморочками. Один освободился лишь месяц назад и негодовал из-за случайного появления патруля ППС на месте преступления. Другой, хорошо одетый нахоленно не замечал никого вокруг, видимо был преисполнен значимости своего преступления. Третий, запущенный бомж, тупо уставившись в одну точку, меланхолично почёсывался, образовав вокруг себя тем самым свободную зону. Ещё две, скорее

всего были подельниками, склонив головы близко-близко они перешёптывались, оглядываясь по сторонам. В общем, я ехал в Смольнинский суд вместе с какими-то мутными пассажирами и старательно делал вид, что сплю. Так, мне казалось, у соседей будет меньше желания интересоваться мной. Но они и так были поглощены собственными заморочками. Один освободился лишь месяц назад и негодовал из-за случайного появления патруля ППС на месте преступления. Другой, хорошо одетый, нахохленно не замечал никого вокруг — видимо, был преисполнен значимости своего преступления. Третий, запущенный бомж, тупо уставившись в одну точку, меланхолично почёсывался, образовав вокруг себя тем самым свободную зону. Ещё двое, скорее всего, были подельниками: склонив головы близко-близко, они перешёптывались, оглядываясь по сторонам. Закончилась прямая дорога. Машина, кряхтя, завернула направо. «С Суворовского свернули на Моисеенко», — подумал я. Не ошибся. Ещё один поворот резкий налево — я уткнулся головой в улыбающегося мне бомжа. Остановка. Суд. Минут двадцать нас держали в автозаке, пока конвой готовился к нашей высадке. Резко ухнула дверь. — По одному выходим! По очереди мы спустились в арку, ведущую во двор суда. Нас разбили по парам, пристегнув друг к другу наручниками, нанизав при этом ещё на единую железную проволоку весь строй. Провели по коридорам в очередной «собачник» и через лёгкий шмон рассадили по камерам. Меня угораздило попасть с Нахоленным. Я занервничал — слишком независимо он себя держал. В камере тускло светила лампа у двери, возвращая в унылое самосозерцание. Сосед уткнулся в бумаги и, немного расслабившись, развалился. По его сосредоточенному изучению дурацкой бумажки «Постановление» мне показалось: он — обычный первоход, пытающийся сохранить лицо в этой ситуации. — Есть надежда, что отпустят? — не выдержав тишины, спросил я. Он поднял голову. И, глядя куда-то вбок, с ненавистью спросил меня: — А это тебя за изнасилование девочки задержали? Я опешил. «Расслабился, мудака... Куда ты лезешь!» — подумал я. Я что-то промямлил про ошибку, про совпадение, стечение обстоятельств, но сосед не слушал, вернувшись к своим записям. Я дал себе клятву молчать. Подняли меня через полчаса, последним. Судья быстро спросила данные и, выслушав мои «убийственные» доводы о необязательности заключения под стражу, не выходя из зала на перерыв, огласила: — Мера пресечения избрать — арест. И в очередной раз ещё одна маленькая деталька во мне отвалилась. Стало тяжело дышать. — Руки! — равнодушно протянул мне наручники в клетку конвойный.

Тем же хороводом тащимся обратно.

Значит, обратно в отдел. Что ж, к лучшему. Позже в тюрьму попаду. Можно пока расслабиться. Мыслей никаких. В мозг, по ощущениям, был подключен вакуумный насос, и всё содержимое откачали. Место размышлений занимают стук колес, бубнеж соседей и скрип дешевой машины.

Подъезжаем к отделу. Останавливаемся на другой стороне — вокруг здания полно машин. На один наручник цепляют «благообразного» с таджиком, по бокам идут двое ментов. За ними — разговорчивые воришки в сопровождении ещё двоих. Я замыкаю это шествие, и позади меня идет крепкая, серьезная девушка-мент. Медленно, вереницей, переходим улицу.

До отдела метров двадцать. Апрельский тихий вечер. Центр Питера. Тихо и безмятежно. Таджик неожиданно отделяется и бежит вперед. У конвойного ступор: он стоит, а второй, с расстегнутыми наручниками, уходит. Через несколько секунд, давших таджику возможность выиграть время, один из конвойных, достав пистолет, бросается за ним. Остальные — в странном замешательстве. Мы не двигаемся, стоим на своих местах.

На лицах милиции паника — их и так мало для сопровождения такого количества арестованных, а тут еще и побег. Крепкая девушка рядом со мной от страха даже старается не смотреть в мою сторону. Захоти я убежать — мне надо было бы просто её оттолкнуть. Я уверен:

она не очень-то старалась бы меня догнать. У неё фигура не спортивная, а монументальная. Если бы она бросилась в погоню, это выглядело бы как бег памятника за осквернителем.

Паника не покидала ментов. Целую минуту они были в ступоре, и только вышедшие на подмогу из отдела коллеги разрядили обстановку. Организованно завели остатки «преступников» в помещение. Захоти мы, все четверо, разбежаться в разные стороны — это удалось бы. Но никто, кроме безумного таджика, не рискнул.

Как его били, беднягу...

Ему нацепили две пары наручников, чтобы он вообще не мог пошевелить руками. Задрали их наверх и долго, страшно били ногами. Под конец таджик уже не мог кричать — он только хрипел. Поймали его у какого-то «Лексуса», водителя которого он уговаривал его подвезти. Если бы у него хватило сообразительности выбежать на Староневский, где в этот час бродили толпы, он, скорее всего, оторвался бы. Мент побоялся бы стрелять, и был бы таджик у своей малышки.

Через десять минут появился охотившийся за ним мент — весь красный, с трясущимися руками и охреневшими глазами. Поймав таджика, он отправился на поиски гильзы. Гильзу он не нашел — отчет увеличится еще на пару страниц, лишней геморрой. Уже вконец обессиленному таджику досталась «призовая» порция пиздюлей от охотника. Мент бил его ногами, руками, старался попасть по наручникам — так таджику делалось больнее: железо вгрызалось в кожу и пережимало сосуды.

Нас почему-то держали в этом помещении рядом с ним. Может быть, в целях устрашения. Наручники, обосравшись, они с нас снимать побоялись. Так мы прождали минут сорок. Необходимые бумаги были собраны. Погрузив нас обратно в «Газель», повезли на Лебедева.

По правилам распределения городского ФСИН, мой район — то есть люди, совершившие преступление в моем районе, — был закреплен за тюрьмой на улице Лебедева. В «Кресты» возили из других районов, и я еще туда не попадал. Итак: Суворовский, Некрасова, Литейный, мост, не помню улицу и поворот на Лебедева. Эту дорогу можно узнать с закрытыми глазами. Вот уже несколько лет (в прошлый раз я ехал по ней в 2001 году) она неминуемо раздолбана в хлам, и, проезжая по ней, приходится держаться за гладкие стенки, иначе можно быстро разбить и башку, и жопу.

Первые ворота открываются. Конвойные подходят к будке дежурных тюрьмы и сдают оружие. На территории тюрьмы разрешены максимум наручники.

Ну и, может, «маски» могут применять дубинки. Открывается второй заслон, машина въезжает во двор тюрьмы. Чем дольше это длится — тем меньше надежд на другое развитие. Снимают наручники. Мол, «теперь можете бежать сколько угодно».

Четырехэтажное здание тюрьмы из красного кирпича. Впереди, под навесом — вход в тюрьму через полуподвальное помещение. Один за другим мы спускаемся по старым разбитым ступеням. Вторая дверь «орёт» противно и очень громко, пока её держат открытой. Длинный темный коридор. Через равные расстояния — углубленные в квадратные проемы двери камер. Слева посередине — застекленная будка для дежурных. Позади неё помещение, где лежат наши дела. Менты пьют чай, и рядом еще одна дверь — комната отдыха.

Нас выстраивают шеренгой, лицом к будке, и по очереди подзывают по фамилии. Мы должны ответить: имя с датой рождения, статью, по которой подозреваемы, и кто по жизни? Последний вопрос не требует развернутого ответа. Ментам надо лишь знать, кто ты: «обиженный» (тогда надо делать пометку в деле), «красный» (доложить операм — сотрудник прибыл), «мужик» (вообще всем насрать на тебя) или «блатной». Не помню, чтобы кто-то так обозначался, тем более по понятиям только Вор должен объявляться.

Постепенно прибывшие подходят к будке, отвечают, уходят. Меня трясет и знобит. Сейчас надо будет озвучить свою статью, и это страшное испытание. Представляю, какотреагируют коллеги (их хлебом не корми — дай поглумиться над кем-нибудь) и менты.

Моя очередь. Подхожу на негнущихся ватных ногах и неслушающимся языком отвечаю. — Статья? — спрашивает мент и, прочитав в деле, поднимает на меня глаза с любопытством. — Сто тридцать пятая — это что?

Я хочу провалиться. Ублюдок! Что тебе надо от меня?! Ага, есть выход. — В кодексе написано, — грубо, сухим ртом отвечаю я и, соединив руки в замок, чтобы не видно было, как колотит, отхожу.

Никто не обратил внимания, вроде бы... Заходим в «собачник». Я сразу плюхаюсь на скамейку и расслабленно, будто уверен в себе, закрыв глаза, откидываю голову на грязную, много лет не мытую, бледно-розовую «шубу», которая на уровне опущенных рук испещрена следами потушенных бычков.

В углу — грязная, с вечно текущей водой, дырка «очка». Рядом ржавая раковина с крапом без барашка. Коллеги потихоньку объединяются. Появляется кружка, кто-то явно готовился: кипятильник, чай. Колотят в дверь. Открывается «кормушка». Голова рабочего цепким взглядом окидывает всех, находящихся в пределах видимости.

— Воды принеси, — просят его, протягивая «полторашку» из-под колы. — Курить есть? — отфутболивает экз. — Принеси сначала, потом дадим! — какой-то ушлый сиделец ставит его на место. Рабочий нехотя протягивает руку: — Давай.

Уходит. В «собачнике» нас человек десять, и вокруг организации чифиря сплотилась инициативная группа. Собственно владелец чая, кипятильника и емкости спокоен, не суетится, деланно равнодушен: «Лёша знает, Лёша пожил, Лёша хуй на всё положил» — так можно вкратце охарактеризовать его поведение. Полосатый, занимающийся всей движухой с баландером (рабочим из хозобслуги тюрьмы), знает, как с ним общаться, и не позволит себя обмануть. Третий — технарь: оголяет провода у лампы или чистит контакты, чтобы, подключив кипятильник, согреть воду для чая. Четвертый в группе — «клоун», просто веселый компанейский парень, развлекающий всех рассказами, естественно, на тюремную тематику.

— Приезжаем мы в Обухово, никто ничего не знает, как на зоне, как чего... Базарим: «чифир-мифир-калорифер». В основном первоходы, конечно: «Щас мы, — кричат, — построим тут карантин!» Туда-сюда, заехали в зону. Смотрим кругом — хуй знает... Дела зачитали, из шлюза выходим, и тут... — Чего? — кто-то из сидящих первоходов, идентифицируя себя с персонажами рассказа, нетерпеливо подгоняет рассказчика.

— Не «чего», а «что»! — ставит его на место рассказчик. — Ну и тут, откуда ни возьмись — шеренга из «маргаринов»: с одной стороны человек пять и с другой. Кто с битами, кто с палками. Одновременно как заорут: «Бегом, животные! Коровы!.. Подхватили косметички свои! Бегом, пидоры!» — И чё, вы это хавали? — раздался голос с акцентом из-под стены.

Рассказчик в ярости обернулся: — А ты думаешь, там поперёк что-то сказал бы?! — Конечно, сказал бы, и не только. Сколько мог — поломал бы, — спорил дагестанец с поломанными ушами. — Да ни хрена бы ты не сделал! Не парь меня! Ты первоход? — Да, а что?! Это не важно! — кипятится дагер. — Хватит! — остановил кипеж Полосатый. — Ну? — это он рассказчику, чтобы тот продолжал.

— Убили на хрен весь этап, — без настроения продолжал тот. — Неделию потом кровью ссал. Пятки отбили. Но так-то их понять могу: не знаешь, когда это закончится и закончится ли вообще. Медосмотр приходит — все в синяках. Врач осматривает, смеется: «Ну, это лайт еще. Вот в прошлом месяце у вас тут вообще зомби были». — Это врач говорит?! — снова влезает удивленный дагер. — Конечно, — не глядя на него, отвечает рассказчик. — Думаешь... Короче, две недели мы на улице тусуемся. В шесть проснулись, вышли и в без пяти десять обратно зашли. Дождь, снег — это в начале марта было — похрену. На проверке не шелохнувшись стоим. Если кто закашлялся или с ноги на ногу переменулся — потом в каптерку, и убили в мясо. Один раз была ситуация: обосрался один. И так он испугался, что стал вытряхивать

говно из штанины в сторону рядом стоящего. Тот не заметил, и после проверки его, охуевшего напрочь, убили ни за что.

— Сильно, — заметил кто-то рядом. — Не то слово! — завершив на этом рассказ, клоун уставился на открывающуюся кормушку. Просунулась рука с бутылкой. — Опа! — Полосатый забрал воду и сунул баландеру пять штук «Мальборо». Зэк с удовольствием посмотрел на результат сделки и сделался изумительно предупредительным: — Если там чего понадобится — зовите! А кстати, нет кроссовок сорок второго размера? — закинул удочку зэк. — Подожди, дружище. Дай с чифом разобраться. Попьем, поспрашиваем, может, что придумаем, — не отталкивая, а придерживая баландера, сказал Полосатый.

Он прав, потому что дежурящие на «галере» обладают информацией, и если что-то можно в тюрьме достать, то с их помощью ты сделаешь это сто процентов. По мере передвижения по тюрьме шансы заключить выгодную сделку падают. На этажах работают часто распиздяи с маленькими сроками — могут и кинуть.

Тем временем воду перелили в емкость, и, держа ее одной рукой, второй Технарь присоединил вилку к оголенным контактам. Начался процесс. В «собачнике» стало заметно тише, все наблюдали, кто-то поддерживал Технаря. Спустя пять минут (кипятильник был старый) Технарь попросил: — Замените меня — руки не держат. Кумарить начинает.

Бедняга наркот. Скоро ломка. Но мне не до жалости — у самого впереди черти что. Пока все заняты общим делом, можно не ждать расспросов. Хотя можно, конечно, и соврать, сказав другую статью... Но тюрьма — один большой замкнутый круг. Если ты вдруг пересечешься с человеком, которому соврал, и он об этом узнает — может произойти кипеж с неприятностями. Суть не в самом факте кипежа, а в том, что он произойдет неожиданно, когда совсем не ждешь. И получается: соврав, надо все время ждать разоблачения. А это жутко выматывает.

— А че ему кроссовки нужны? — раздается дребезжащий голос из угла. Полосатый быстро сканирует прикид спросившего и, видимо, сочтя его достойным ответа, говорит нехотя: — Хочешь свои замутить?

Я приоткрываю глаза и, склонившись вправо, пытаюсь разглядеть обувь говорившего. Ага! Почти новый Nike! Полосатый лукавит с безразличием — цену сбивает заранее. Это стоит заморочек. И поймешь за Nike (наиболее распространенного 42-го размера) можно нормально.

Полосатый стучит в «кормушку». Такое ощущение — баландер дежурит у нашей хаты, предчувствуя наживу. С грохотом «кормушка» падает. Он не боится произведенного шума — с ментом всё увязано. — Чё? — глаза нарочито уставшие. В противоположность своему быстрому появлению, он искусственно безразличен.

— Кроссы, — цедит, сплевывая в сторону, Полосатый. — Че за кроссы? — так же безразлично спрашивает баландер. — Нормальные кроссы. Найковские. — Родные? — Нет, блин. Двоюродные. Эй, дружище, подтянись-ка! — зовет он хозяина.

Баландер смотрит сквозь «кормушку» на обувь, и никакая блокировка не в состоянии скрыть его заинтересованность. — Че хочешь? — спрашивает у хозяина баландер.

Тут встречается Полосатый: переговоры без посредника в его планы не входят. — Сейчас, — делает жест баландеру: «подожди». О чем-то пошептался с хозяином кроссов и, оставив его в отдалении от «кормушки», подходит, что-то говорит зэку. Тот кивает. — Че, давайте кроссы, сейчас принесу.

Хозяин делает движение, собираясь снять обувь, но Полосатый останавливает его: — Ты голову не шуми! Неси расчет — всё получишь. Зэк хлопает «кормушкой».

Глава 5

Всё готово. Чифир сварили, надо, чтобы настоялся. Все, кто помогал и поддерживал, рассчитывая на долю, оживлены. Между собой и с «четверкой» знакомятся, ищут общих знакомых. В нарастающем гае проходит минут десять, чай разлит.

— Только без сюрпризов, народ! — тихо говорит Полосатый, смотря в кружку и кипешуя чиф. Он имеет в виду: если есть кто «с прошлым» — пусть сразу скажут, чтобы непоняток не было.

— Мне налейте, пожалуйста, в стакан, — говорит из угла очкарик небольшого роста, чисто, но очень дешево одетый. Тут понятно — «обиженный». Протягивает одноразовый стакан из набора, выдаваемого на этапе. Полосатый, стараясь не коснуться стакана (чтобы не зашквариться), наливает немного чифира. — Ты откуда? — спрашивает очкарика. — Из Тихвина. Сюда, на Грибакиных привезли...

(Психоневрологическая экспертиза располагается по этому адресу). — Ты че, манила? — с ехидцей спрашивает Полосатый. — Нет. Убийство с жестокостью. — В каком плане? — спрашивает кто-то рядом. — Шестьдесят три ножевых, — спокойно отвечает очкарик.

— Ого! — ржет Полосатый. — Не-е-е, не манила! Так... Любитель! Гы-ы-ы. Ну ты даешь! Шестьдесят три — это сильно! Не выжил? Очкарик криво улыбнулся: — Нет. Точняк.

— Че, ты его «наверняка» бил, чтобы точно не поднялся? — подключился стильный парень справа. — Да нет. Разозлил он меня сильно, — оправдывается очкарик.

Но эки почувствовали возможность поглумиться. Как глупые дети — надо утвердиться: «есть кто-то глупее, дурнее меня!» И полегче как-то... — Надо думать! Он, наверное, тебя в нескольких поколениях оскорбил и над мертвым надругался! А?! — очкарик молчал. — А на самом деле он тебя, походу, пидором назвал? — Не-е-е, я был тогда...

Он не договорил, мы все засмеялись. — Что «тогда»? — хохотал стильный. — Сто пятьдесят три ножевых и письку отрезал?! А-ха-ха-ха!

Очкарик понял, что ляпнул глупость. — Сигарету, уёбок, не дал, — вдруг серьезно сказал он.

В «собачнике» стало тихо. И даже многое повидавший Полосатый вскинул на него с удивлением глаза. — За сигарету?! — вполголоса спросил стильный. — Да он целый блок нес. С «Ленты» шел, — прорвало очкарика. — И куда ты его ножом? — тихо, вкрадчиво продолжая экзекуцию, спросил стильный.

Все затихли и смотрели на очкарика. Дикое несоответствие было между его внешностью и ужасом, совершенным им. Сидящие в «собачнике» пытались рассмотреть в нем того страшного, безумного мистера Хайда. — Сначала несколько раз в живот, — спокойно начал очкарик, поправляя очки, — потом в шею, а потом... уже как куда попадал. — Он чё, сильно сопротивлялся? — спросил кто-то. — Да нет. После первого он обосрался и упал. — Ты его ножом в живот, а он обосрался? — весело спросил кто-то.

Меня передернуло от этой легкой иронии. — Ну да. — Так а зачем так много ударов?

— Да мразь ебаная потому что! — начал заводиться очкарик. — А ты-то кто тогда?! — вдруг заорал Полосатый. — Ни за хуй собачий человека покромшил! И еще чуть ли не горд этим! — Я не горжусь совсем, — притих очкарик. — Кому ты лепишь? — расходился Полосатый. — Я что, не слышу, с каким смаком ты всё это рассказываешь?! Завали дупло лучше своё, Ван Хельсинг, блин!

Кто-то захохотал. — «Ван Хельсинг» — это сильно. — А как еще этого придурка назвать-то? — смеясь, кипятился Полосатый. — Ничего святого! Сто процентов еще и свастика набита где-нибудь. — Так и есть? — спросили очкарика. Тот закатил штанину — зачернел огромный крест. — Я же говорил, — сказал Полосатый.

— Хрен с ним. Давайте пить, — сказал владелец чая. Грохнула кормушка, и появилась улыбающаяся голова баландера. Тот о чем-то перекинулся с эком и скомандовал хозяину кроссовок: — Давай сюда. Расчёт принесли.

Тот отлетел к двери, на ходу расшнуровывая кроссовки. Отдал. Тот взамен дал старые ботинки «расчётом» и что-то сунул почти незаметно в руку Полосатому. — Сделка? — спросил хозяина обуви Полосатый. — Пакет, чай, сигареты? Тот кивнул: — Пойдёт. — Если что, кричите, — резюмировал довольный ээк и захлопнул кормушку.

Чифир пошёл по кругу. Когда дошло до меня, я предпочел открыть глаза и пригубил — нежели потом отвечать на вопросы, чувствую ли что-то за собой и так далее. Выпили литр. «Найк» угостил сигаретами, и побежали обычные разговоры. Как любят говорить ээки: «Ну вот мы и дома». Где сидел? Откуда сам? Кого знаешь? Чем занимался?

Забавно потом по этапу или в зоне встречать этих вежливых рассудительных ребят, рассказывающих про беспредел с нескрываемой ненавистью и осуждением, а после встречающих тебя уже на должности и дающих команду встретить хорошенько тебя — в том числе из-за того, что видел его совсем другим. Но сейчас все «братаны».

— Как ты, братишка?

— Брат, позволь, я пройду... Нету «рандолики», братуля...

Все в хату, на шмон! Пошла движуха. Нас отводят по очереди в помещение с длинным столом, где мы раздеваемся догола, выкладывая всё, что есть. Сняв трусы, следует присесть три раза, демонстрируя отсутствие чего-либо в заднем проходе. Отбирают деньги, драгоценности, оформляя их на личные счета. Туда же телефоны, все девайсы.

Кто-то провести умудряется, забрать что-то с собой, несмотря на предосторожности ментов. После шмона не разрешают вернуться в прежнюю камеру — располагают в другом помещении. Что-то оставляется чуть ли не на виду: у трубы, за выступом... Из-за наглой беспечности этот номер срабатывает, и ухарь поднимается в хату с деньгами и телефоном. Профессионалы могут в заднице спрятать так, что сколько ни приседай — не выпадет.

Чем ближе к транзиту, тем больше меня колотит и тем больше я психую. Усилием воли унять этот колотун невозможно. Руки ледяные, пытаюсь их согреть, растирая друг о друга — безрезультатно. Трясёт страшно. При ходьбе ноги вырисовывают непонятные кренделя, и порой я не уверен, что они не подломятся при следующем шаге.

Сидим дальше. Куда-то дёргают — скорее всего, к операм. Возвращаются. Видимо, это «внештатные сотрудники» со стажем. По их лицам, когда они возвращаются после беседы, ничего сказать нельзя. Косимся друг на друга, но молчим — без оснований ничего не предъявишь. Хотя порой можно и на шару, и так бывает.

Дверь вновь открывается. — На выход! — командует уставший мент.

Мы выходим, и нас направляют направо, в конец коридора. Разборка. Тот, который поменял Nike, теперь выдаёт нам белье, матрасы, кружки. У меня мутится в голове. Теперь уже чуть-чуть осталось до подъема в хату и выяснения: кто, за что и так далее. Складываем у стены матрасы и идём в «прожарку». Раньше всё было серьёзно — реально прожаривали вещи, ведь полно попадает бомжей со вшами. Теперь просто душ. Под водой я немного согрелся, и колотун прекратился.

Поднимаемся с вещами на второй этаж. Здесь несколько транзитных хат. По понятиям в транзите никто ничего «спросить» не может. «Спросить» — это значит заставить тебя дать отчёт в тех или иных поступках. Если ты не в состоянии грамотно пояснить — последствия могут быть очень грустными. Опять же, по понятиям спросить за жизнь в тюрьме можно, а никак не за волю. Но, по большому счёту, все эти понятия так размыты, и ничего не стоит грамотно их перевернуть диаметрально. Зная это, я психую.

Хата восемьдесят шесть дробь два.

К двери подводят нас двоих: меня и ещё одного высокого кучерявого парня с отсутствующим лицом. Открываются двери. Проходим. Я специально мешкаю и пропускаю вперёд долговязого. При малейшей возможности я удаляю «объяснение».

— Говорите, — произносит сидящий перед нами болезненный наркот с приятными глазами.

Этот — «основной», понимаю я. — Откуда? За что к нам? Вон, клади туда, видишь? — заметив замешательство длинного, показывает ему на свободное место.

Я держусь максимально независимо и развязно. Кладу матрас на свободное место подальше от длинного. Тот на «центряке», вытянувшись, отвечает на вопросы. Вокруг наркота сидят остальные и слушают. По лицам — не производят впечатления беспредельщиков, и тем более не тянут на «маргаринов».

Долговязый что-то лепит, рассказывает свою делюгу: убийство, но он ни при чём, какая-то подстава, но он бы и сам убил... Чёрт ногу сломит — пожалуй, как и в любом эковском рассказе.

Все повернулись ко мне. А я глупо надеялся, что уже слился с обстановкой и про меня забыли. — А у тебя что, дружище? — Сто тридцать пятая, — пожимая плечами, глухо говорю я.

Это что такое? Изменение интонации... Потому что начало на 130-ю, как правило, связано с сексуальным насилием, и реакция соответствующая. — Развратные действия, — отвечаю как можно флегматичнее.

Пауза. Сокамерники переглядываются. — Ладно, — отводя глаза от меня, говорит наркот. — Давайте заварим-то, что ли.

Я понимаю: разговор со мной только начат.

— По жизни, парни, всё равно? — спрашивает наркот. Я понимаю: вопрос в большей степени адресован мне из-за статьи. Отрицательно мотаю головой: — Нормально всё. — В каком плане? — вообще не понимает вопроса долговязый.

— Он первоход. С пидарасами не общался, — спокойно спрашивает болезненный. — Да нет, что ты! — испуганно отмахивается Длинный. — Ну и нормально тогда. Располагайтесь, чифирнем. А ты сам-то откуда, Серега? — спрашивает у «убивца» наркот, представившийся Денисом.

Пока тот рассказывает, я беру сигарету и краем глаза разглядываю остальных. Нет, наездов не будет. Хата «ватная». Кроме двух, уже зарисованных мной, сидят: белобрысый молодой симпатяга из первоходов (или просто неиспорченный) и компанейский дагестанец. Последний тоже не представляет опасности — обо всём переспрашивает наркота.

Помещение тюрьмы, восьмиместка, двенадцать квадратных метров. Ты знаешь, что тебе некуда деться, некуда исчезнуть и уйти на утро, когда все проснутся и вспомнят, кто рядом с ними...

Чай настоялся. И несмотря на то, что меня штырило ещё от яда, выпитого в «собачнике», я не стал отказываться от предложения. Иначе можно было бы вызвать резко негативную реакцию: «Не хочешь с нами пить? Может, что-то за собой всё-таки чувствуешь? Или про нас что-то знаешь?» В общем, вариантов развития конфликта было немало, и я, конечно, предпочел его избежать.

Кружка по кругу. Дошедший до меня чифир принес долгожданный вопрос: — Как же тебя так угораздило? — спросил спокойно, как бы между прочим, наркот.

Понимая, что нахожусь под наблюдением, я максимально спокойно и ровно ответил. Почти слово в слово пересказал то, что говорил операм в отделе: неделю уже бухаю, с утра вышел опохмелился... дошел до побега таджика. — А как звали-то его? — подорвался дагестанец. — Вроде Заур, или как-то так... — На Марата, говоришь, он живёт? — Вроде про Марата говорил. Там он квартиру с девушкой снимает. — Я знаю этого кренделя! — засмеялся дагер,

представившийся Бесланом. — Он на Гостинке работает? — заинтересовался парень рядом с наркотом. — Да какой там «щипач»! — засмеялся дагер. — С его распухшими от уколов руками только лопаты держать!

— Так он на «отводе» работает. Вот, помню, они команду иностранцев каких-то отработывали. Схема: один сзади, один впереди, двое по бокам... Толпа, шум. Задний налетает «случайно» на иностранца, тот сшибает впереди идущего — а это как раз таджик. Иностранец извиняется, его отвлекают. Сзади толкнувший «мол, простите, не хотел», долго и громко оправдывается. Таджик должен кричать на иностранца, повергая того в панику. А он что-то невнятно бубнит. Иностранец поворачивается к нему — и вдруг палит, что у него «срезали» лопату и фотоаппарат. Двое «щипачей» по бокам, его отработавших, уже исчезли. Тот, что сзади, типа вежливый — тонет в толпе. И перед иностранцем остается только пришедший в себя и начинающий возмущаться таджик. Иностранец просёк эту тему, схватил его и орёт: «Помогите! Ограбили!»

— Ну и чего? — с нетерпением подгонял рассказчика молодой парень. — Да чего... Вернулись те двое. Один за руки схватил, другой в под дых со всей дури, а третий — в челюсть. Оставили иностранца отключенным на асфальте. Парни, братья мои... — И чего? — словно продолжая диалог, повернулся ко мне наркот.

Элемент неожиданности - любимый инструмент и зеков, и оперов Оп! Пока ты чем-то занят резко задать вопрос и посмотреть реакцию. — Заставили куртку надеть, её девочке предварительно описали. И накануне вечером с разбитым лицом меня держали, якобы собираясь куда-то увозить, перед ними минут десять. — Чтобы запомнили? — Видимо, да. Потому что никуда в результате не повезли и вернули в «собачник».

Я вытер потные руки о штаны, с них буквально стекал жар. По спине капало испариной. Труссы прилипли к заднице, пропитавшись потом. — Трудно тебе придётся, — резюмировал наркот, принимая чашку, перемещающуюся по кругу.

Когда он заговаривал со мной, в хате устанавливалась тишина. Все сосредоточенно слушали. — Сигарету возьму? — спросил я, демонстрируя хорошие манеры. — Если на столе лежит — бери, не спрашивай. Ладно, парни, отдыхайте. Еще попиздим.

Я забрался в «чемодан» — вторая шконка в трехъярусном блоке. Расстояние между ней и третьей — сантиметров пятьдесят. Уткнувшись в подушку, вытянул ноги и закрыл глаза. Почти блаженство. Конечный пункт. По крайней мере, в течение нескольких дней стрессовых расспросов больше не будет.

Здесь меня никто не тронет и глумиться не будут. Наркот придерживается старых понятий. «Тронет-не тронет» - в последнее время это станет моим основным мерилom человеческих качеств.

Дэвид бегаёт по комнате, приносит игрушки. Избивая стулья хвостом, несется за ними, когда я кидаю, снова приносит, кладёт на колени, отходит назад и нетерпеливо ворчит: «Давай, кидай!» Совсем здоровый стал. Буквально недавно мама принесла его в коробочке — маленьким, тихим и похожим на овчарку. Сомнения в породе были где-то полгода, потом мнение сформировалось окончательно и закрепилось: дворняга. Любимая, безалаберная, невоспитанная собака.

Бабах! Резко прижимаясь к подушке, чуть не вскрикнул от боли. Затылком ударился о железные прутья верхней шконки. Сверху появляется голова, с удивлением смотрящая на меня: — Ты чего? — Да башкой с размаху в шконку вошел... — А, понятно, — ушла голова.

«Бабах» — это сделала кормушка, и это означает утро. У меня перехватило дыхание, я замер в ожидании. Отлегло при звуке бряцающей посуды. Пришло понимание: это надолго. А «долго» для меня сейчас — неделя. Вздрагивать от громких звуков, открывающейся двери, чужих имен, созвучных с твоим, кем-то рядом произнесённых — всё это жесткие впаянные элементы моей рефлексии. «Будешь жить и оглядываться», — сказал однажды мой коллега,

сборщик мебели, нашему бригадиру, в мелочах наущничающему начальству. Такой именно фразой можно охарактеризовать моё теперешнее состояние. Состояние «что за спиной?»

Кое-как я втолкнул ужин и, покурив, обрадовался. Еда успокоила нервы, и потянуло в сон. Забравшись в «чемодан», я зарылся в подушку, напоследок окинув взглядом хату, освещаемую единственной шестидесятиваттной лампой: шконки рядом с зелеными обшарпанными стенами, кучи разбросанного белья, люди, застывшие в разных позах. Время - чтение, размышление, апатия, сон.

Теперь уже 24 часа в сутки, долгие дни, а скорее всего, месяцы я буду вынужден наблюдать эту картину — не меняющуюся и не развивающуюся. Сон пришёл, и по контрасту с действительностью, показал светлую картинку: крыша, эвкалипты, парк из роз с музыкальным фонтаном, медузы. Хоть отвлекся. Просыпался, спускался на «дальняк» и залезал обратно.

На следующий день общение складывалось более непринужденно. Выясняли, есть ли общие знакомые, кто, когда и где сидел — всё по обычному кругу. Молодой парень Никита достал кроссворды и стал разгадывать, читая вопросы для всех. Продержавшись минут пятнадцать, но зная, что эрудиция ценится, я стал подсказывать. Через полчаса отвалились все участники, и мы с Никитой, уединившись с сигаретами на наших соединённых «чемоданах», пропали до конца дня в терминах, понятиях и названиях.

Под вечер назрел небольшой кипеж. Убийцу, пришедшего со мной, спалили за написанием странного письма. Он копировал текст из наклеенной на стену распечатки режима содержания, добавляя к цитатам свои наблюдения — хотел отправить какой-то документальный репортаж маме о жизни в тюрьме. Ему доходчиво объяснили: мол, так делать не стоит. Не надо описывать происходящее в настоящем и тем более отправлять это на волю. Ведь все письма проходят цензуру, а в некоторых случаях — и оперотдел.

У всех свои тайны. Тем более у таких специфических граждан, как преступники. Любая деталь о жизни того или иного, дошедшая до опера, может стать инструментом в манипуляции и шантаже, а в долгосрочной перспективе может быть внесена в личное дело. Парень ни хрена не понял, но ручку отложил и стал рассказывать о деле. Как обычно: его подставили, замешана жена или не жена, друг...

— Экспертиза ничего не найдет, потому что ничего там быть не может. Или может...

Отрывистый монолог, хватание за голову, хождение взад-вперёд. Понять, сосредоточиться он не мог совсем — страшная мешанина была в голове. Наконец он сел, замкнувшись. Вплоть до моего отъезда из хаты я не слышал больше его голоса.

Я лежал, спал, разгадывал кроссворд и ждал... Ждал основных событий. Транзит представлялся мне последним отдыхом в долгом, тяжелом пути. В том, что он будет таким, я не сомневался. Мои опасения подтверждали рассказы сокамерников об участии осуждённых по подобным статьям: о вынужденном образе жизни, об отчуждении и постоянном унижении.

Настал день, когда должны были «поднять в хату», то есть перевести уже в постоянную камеру. С утра я не мог лежать, не мог сидеть и сосредоточиться на простых вещах. Я курил одну за одной и страшно психовал.

Меня игнорировали, но наркот не выдержал: — Не води себя так. На психозе ничего хорошего не выйдет. — Я не знаю, что делать. Известно отношение к таким статьям На «прожарку» куда-нибудь закинут.., — я еле-еле ворочал языком. — Спрячь «мойку», если что. Какой-нибудь маргарин начнет душить — полосни по горлу, вопросы отпадут.

Я смотрел на него. Конечно... Пожалуй, это оптимальный выход. Взяв станок, ногтями отковыривал пластмассовые скрепки, соединяющие лезвия. В другие дни делал это моментально. Сейчас же всё валилось из рук, и никак не получалось разломать. Кончилось разрезанным пальцем и тягучей, не останавливающейся кровью. Полчаса я потратил в поисках тряпочки, ни черта не нашёл. Замотал палец обрывком бумаги, а сверху — полиэтиленовым

пакетом. С идиотским огромным пальцем, безобразившим всю кисть, я продолжал курить, в перерывах выпивая дикое количество воды из-под крана.

Чем ближе к часу «Х» (где-то примерно в семь вечера поднимали), тем больше мои нервы кипели вместе с фантазией. Плохо соображая, уставившись в одну точку, я становился совсем невменяемым. Звук открывающегося замка прогремел, сотрясая каждую мою молекулу. — Бн, с вещами на выход!

Больше всего на свете я хотел бы стать или тараканом, или человеком-невидимкой. Ноги затекли. Я поднялся, хватаясь за дверной косяк, краснея от неловкости, — остальные наблюдали за мной. Совладав с координацией, но продолжая трястись, я с матрасом поплелся за ментами.

Подняли на третий этаж, проведя по общей лестнице. Подвели к «тридцать второму продолу», прямо перед корпусным. Сквозь два ряда решеток, между которыми был «стакан» для ожидающих, уходила вдаль с невыносимой безысходностью галера: мрачный полумрак, опасно-грустные стены с углублениями дверей.

Сердце задышалось и кололось. За каждой дверью свои звуки. Одни казались агрессивными, другие более миролюбивыми. Тишина пугала. Сейчас откроется дверь, и на меня уставится минимум десяток глаз, чьи хозяева охренели от однообразия и жаждут новых впечатлений, разговоров, рамса, выяснений. Есть камеры, где тебя совсем не ждут. Где всё установилось, люди живут по общему согласию, устроив быт. Ты со своим «новым я» этим на хрен не нужен.

Меня доводят до конца галеры, и мент подходит к хате 150. Открывается дверь, за ней — резкий свет и много черных, вглядывающихся глаз. Осунувшиеся от недостатка свежего воздуха, серо-коричневые от курева и бесконечного чифира, в футболках, в шортах, по-домашнему... Словно нажали на «паузу»: все остановились и уставились на меня. Забыты дела — новая игрушка. Закрывается дверь.

— Здорово, парни! — как можно беспечнее говорю я. — Здорово-здорово, пацанчик-пацан! — подмигивает худосочный маленький, плюгавый то ли цыган, то ли айзер. — Вон, кинь туда пока матрасик, — как заправский урка машет он руками, показывая на шконку.

Пока я кладу матрас и снимаю куртку, движение в хате возобновляется, и я вижу огромную заморочку. Недавно, по всей видимости, зашел «кайф», и сейчас происходит «дербан». Кто-то сидит уже вмазанный и внимательно смотрит на меня, раздирая чешущийся нос в приходе. Остальные делятся на тех, кто ждет своей очереди, зная определенно — им достанется, и остальных, кто надеется на удачу и благосклонность тех, кто скидывался и затягивал «кайф».

Я вижу несколько «основных», но они пока не обращают на меня никакого внимания. Но с такой моей статьей лучше не проявлять инициативу, а дожидаться своеобразного разбора полетов, чтобы не вызвать агрессию сокамерников. Их оказалось немало — хата на пятнадцать человек.

Постепенно осматриваюсь. Я стою как придурок на «центряке» (это нарочная мизансцена — проверяют нервы). Сзади — «база», где суетится шнырь, кому-то что-то готовящий, естественно, уже вмазанный. Слева... вроде душ. Передо мной — трёхъярусные шконки.

— Че сам-то, откуда? — подгрёб айзер, выполняющий роль шута в камере и, походу, провокатора. — С центра, — как можно спокойнее отвечаю я.

Сам же не знаю, куда деть руки и ноги. Беспрестанно слышу сзади какие-то звуки, свидетельствующие о том, что шнырь с кем-то глумится за моей спиной. — Я тоже с центра! — оскалившись, чешет яйца айзер. Он вмазался одним из первых (приближенный, скорее всего). — А зовут-то как? — Лёха, — старательно делаю вид, что всё нормально. Вопросы обычные, ответы ожидаемые.

На самом деле и «охотники», и «добыча» знают: это начало, будет развитие и финал. Некоторое наблюдение позволяет мне сделать вывод: в хате сброд. Беспринципные наркоты,

живущие ради употребления и делающие всё, чтобы это употребление состоялось. Им глубоко плевать на меня, главное — «не мешай движуху делать», но по внешней команде они способны растоптать меня.

— Здорово, Лёха. Я — Вито, — тянет мясистую переколотую руку обрюзгший кабан с влажными глазами и своим представлением о пластике Дона Корлеоне. — Сам с Васьки. Всю жизнь почти там прожил. А ты ничего так, держисься.

Не понимаю, о чем он, на всякий случай киваю. — Че ты стоишь, присядь. Щас чаю попьем. Пьешь чифир? — вежливо спрашивает он. Как все только что вмазавшиеся, люди любят демонстрировать доброту, тактичность. — Саня, сделай чиф! — обращается он к шнырю, стоящему у «базы».

Наконец, присев напротив, я могу его рассмотреть. Молодой стилига. Сразу видно, не из бедной семьи — ухоженный, глянцевоый. Шнырит, потому что есть в нем что-то гомосексуально-покорное и капризно-девичье, а с таким характером лучше быть под защитой. Я, должно быть, ему сразу не понравился, и, не скрывая небрежения, он выполняет команду Вито.

Вокруг страшная суэта: поиск «баяна», дележ, игра «найди вену» (не все могут быстро вмазаться — вены сожжены). Кто-то стоит канючит: «Парни, ну оставьте децл...» Это уже не люди, а зомби — они разорвут за пару точек на шкале инсулинки. Мы словно на выделенном пространстве, не касаясь остальных. Вито уже ничего не надо, а меня (последний раз я вмазывался в 2001 году) это не задевает.

— Так за что закрыли? — небрежно спрашивает собеседник, но, почему-то кажется, он прекрасно уже знает ответ. — Полная залупа. Сто тридцать пятая, — стараясь выдержать нарочитую небрежность, отвечаю я. — Что это? — «Развратные действия», — произношу я и понимаю: звучит омерзительно.

Если «изнасилование» — прямое, законченное, стремно, но понятно, то «развратные действия» — это что-то тайное, извращенное, пакостное, трусливое. Мне самому становится неприятно.

— А чё, подстава? — спрашивает Вито, старательно вычищая ногти.

Краем глаза наблюдаю за остальными. Те, кто уже не занят в наркотской движухе, ненавязчиво прислушиваются к нашей беседе. Создается полное впечатление: еще чуть-чуть, и на меня накинута, начнут убивать. А самое жуткое — осознание, что всё это придется пережить в полной мере. Тебе не деться никуда от этих людей, ничего не изменить и не выбраться из этих стен.

— Да нет, не подстава. Стечение обстоятельств. — Как так? — удивленно Вито поднимает глаза. Шнырь за «базой» иронизирует, кивая головой: «Давай-давай, ври дальше!»

— На ребенка кто-то напал в парадной, а спустя где-то полчаса ловят меня (по похожей куртке, самого его никто не видел), пьяного в дрова, и пакуют! — А че там делал? — Я живу там. Это в пяти минутах ходьбы от дома. — И что с ребенком? — Да ничего. Привели на опознание, предварительно меня ей показав, и она опознала... — отвечаю я, стараясь справиться с пропадающим, застревающим и падающим в горло голосом.

Мне видится в реакции Вито сочувствие, и это меня успокаивает. — Я не понимаю, что с ребенком-то сделали? — не понимает он. — Я сам не понимаю. Мне они не рассказывают, что там конкретно произошло. Просто: кто-то напал, бабушка спугнула, и он убежал.

Вито взял лежащие рядом четки и стал их перебирать в толстых, надутых, с закупоренными сосудами пальцах. — Ты че пиздишь-то?! А?! — постепенно повышая голос, стал наезжать он. — Какая, на хуй, «не понимаю»?! Ты че мне лепишь?!

Меня затрясло, высохло нёбо. — Я на лоха похож?! А?! Похож?! Как ни странно, этот всплеск не вызвал серьезного любопытства окружающих. Все продолжали заниматься своими делами, лишь чуть скосившись на крик Вито. Но я, уже во всем сомневаясь и трясясь от неожи-

данных передвижений собственной тени, подумал: «Сейчас — отвод, а через секунду они меня забьют». И вдруг...

— Да ладно! Вижу-вижу, ты нормальный пацан! — Вито хлопнул меня по колену. — Дай пять! Я медленно протянул руку, стараясь никак не изменять невозмутимость на лице. Он хлопнул по руке и, довольный своей шуткой, откинулся на шконку.

— А у нас тут, видишь, ничего, можно жить! — мясистой рукой он обвел хату, остановившись с акцентом на вмазывающихся. — Саня, ну что там с чаем? Без ответа Саня подал нам две кружки и две конфеты. — Чай, конфеты шоколадные, нет-нет говно... Ты как, кстати?

Я ждал этого вопроса. И предполагая, что могут предложить, искал в себе ответ. Вмажешься — и на несколько часов избавлен от рефлексии. С другой стороны: я не торчу уже седьмой год, и начинать сейчас, когда нет никакой тяги — значит все эти годы перечеркнуть. Кроме того, это делает меня еще более уязвимым, а это было кое-кому на руку.

— Седьмой год не торчу, — как бы между делом ответил я небрежно. — Молодчик! — хлопнул в ладоши Вито и вlepил тяжелой рукой мне по колену так, что я от неожиданности дернулся. — Да не ссы ты никого и ничего! — громко засмеялся Вито, и сзади кто-то подхватил: «Не ссы никого, никого не ссы! Ха-ха!»

«Суки», — подумал я. Нервную систему проверяют, исследуют: насколько хватит. — Чем занимался на воле? — В последнее время мебель делал. А так — закончил театральный в середине девяностых, в театре работал, — пытаюсь поднять себе цену, бравировал прошлым я. — Это на Моховой который? — оживился Вито. — Да. Только не актерский. Я на администратора учился, — сразу поправился я во избежание ненужных для тюрьмы параллелей с профессией артиста.

— С Шевельковым не пересекался? — «Гардемарины» который? — Ха-ха! Охуенно здесь встретить человека знающего! — потирая от удовольствия руки, радовался Вито. — Нет, лично не знаком. Но в его «Классике» работал. Приглашали администратором на корпоративы. — Вот это да! — заорал Вито. — Вот пересеклись-то! Я часто на Ваську к нему в офис заезжал, он женат на моей сестре, почти родственник.

Я сделал восхищенный взгляд. — Куришь? — Да, конечно, — обрадовался я вопросу, потому что хотелось немного спрятаться за сигаретой: диалог был непонятен своей оконцовкой.

Вытянув все мои воспоминания о «Классике», Вито потерял ко мне интерес и пошел за добавкой. Тут же нарисовался цыгано-айзер, стреляющий по мне маленькими черными глазками, плавающими в жиже бело-желтого белка. Позадавал какие-то глупые вопросы и отвалил. Разговор с Вито, закончившийся чифиром и спокойным разбегом, поставил точки над «i». Меня никто не трогал, и вопросов не задавали. Вроде я победил...

Жаль, но я заблуждался. Шли относительно спокойные дни. Я общался, попадал на чиф, меня никто особенно не трогал, до статьи не докапывались. Потихоньку успокаивался, ждал следственные действия — должны были предъявить обвинение, провести допрос... Проползло три дня. Удалось позвонить маме и «отпустить» Дэвида, просидевшего несколько дней в комнате в одиночестве. Что творилось в твоей душе, милый мой друг! Прости, спустя десять лет мне так же больно.

Из хаты периодически уезжали, переезжали в другие, состав обновлялся. Появлялись обычные мужички и пакостные наркоты-интриганы. Одним из таких стал Белый. Это его погоняло шло от цвета волос — с образом Безрукова не имело ни малейшего сходства. И как-то после удачной утренней «заморочки» (все удачно вмазались) потянуло к общению. Слово за слово. — А вот ты точно маньяк, — вдруг выдохнул мне Белый, гоняя чифир. — Это как ты определил? — зло спросил я.

Я существовал последнее время без напоминаний о статье и расслабился, считая себя обычным зэком.

— Да по глазам это видно. Мутные они у тебя. Исчезают как будто.

И это мне говорит человек, у которого светло-светло-серая радужка, переходящая в мутно-белый болезненный белок, и при всем желании выражение его глаз нельзя описать. Я же прекрасно знаю: мои карие глаза четко выделяются на белом фоне, и по ним прочесть можно все мои эмоции. Этот ублюдок заставил меня заткнуться и почувствовать всеобщее отношение как к изгою. Молча я закурил.

Утром следующего дня я услышал в кормушку свою фамилию. В следственный! Лицом к стене, лицом к стене... Лестница, «круг», первая галёра. 1/1 — следственная. В конце её — дверь, ведущая в следственные кабинеты, где допрашивают, проводят очные ставки, делают психоэкспертизу («пятиминутку»), предъявляют обвинения, знакомят с материалами. Здесь договариваются «серьезные эки» (бандиты, авторитеты, чиновники), здесь встречаются между собой и с адвокатами. У меня же всё по положняковой схеме — ничего необычного. Должен прийти мой следователь...

Опа! Мимо меня прошел, нарочито не глядя в мою сторону, Брюнет — опер, главный в троице, «снимавшей» с меня первое объяснение в отделе. Не думаю, что появился он здесь случайно. Сердце ухнуло, потянуло вниз, голова закружилась. Меня завели в кабинет и велели ждать.

— Бн? — спросил молодой, чистенький, подтянутый парень с небольшой папкой в руках. — Да, — ответил я. — Следователь прокуратуры Центрального района Роман Буду вести ваше дело.

Он присел напротив, аккуратно раскладывая бумаги. Я ждал. Больше всего меня интересовало, в чем конкретно меня обвиняют, что там, в этой парадной, произошло. По обычному регламенту он заполняет протокол допроса. Имя, год рождения, место жительства... время начала допроса. — Может, расскажете, что там было-то с ребенком?

Следак поднял на меня глаза, видимо, пытаюсь понять мои истинные намерения. «Да нет, малыш, ты еще мал для такого мгновенного сканирования», — подумал я. — После допроса я покажу вам показания.

— Хорошо. Допрос можете, в принципе, с оперского объяснения перекачать. — Зачем? Вдруг они выбили его из вас? — флегматично сказал он. — Так и было. — Сука, даже голову не поднял! — Только не выбили ничего. — Ну, тогда поехали.

Почти дословно я пересказал объяснение. Он не спеша записывал, почти не задавая вопросов. Всем своим видом давая мне понять: он не верит ни единому моему слову. — Так. Вот здесь напишите: «С моих слов записано верно. Мною прочитано». Число и подпись.

Я написал. Он забрал документ и протянул мне листок с показаниями матери. Та со слов девочки рассказывала о происшедшем. Итак: девочка шла из магазина, за ней в парадную зашел мужчина, которого сначала она заметила во дворе; схватил сзади, закрыл рот рукой и провел рукой между ног. Девочка закричала, бабушка открыла дверь и увидела убегающего из парадной мужчину. Сильно.

— Сильная хрень! Ничего себе обвинение. Расстрел, наверное, за такую ерунду? — бравировал я, не складывая из этого бреда внятную картину, относящуюся ко мне — такой ахинеей мне тогда это показалось.

Рома снова поднял на меня глаза «со смыслом». — Ну, расстрел — не расстрел, а уехать ты можешь надолго. От «тыканья» я разозлился. — Статья до трех лет! Что вы мне лепите?! — Ну... Времени еще много. Обвинение не окончательное. — А-а-а. То есть труп может всплыть? — Не иронизируй. Не в том положении.

Пиздец как не идет тебе, задрот, этот холодный тон.

— Видите ли, я не впервые в этих стенах и прекрасно знаю: ни черта вы мне сделать уже не в состоянии. Можете только информацию мало-мало от меня собирать, что-то своё там конструировать, параллельно меня запугивая. Все ваши методы я прекрасно знаю, да и вы, в

силу возраста, не в состоянии переиграть меня, — выдыхаю я, надеясь этой тирадой вывести его из равновесия. Может, это чем-то поможет — тюремная психологическая тактика.

Он поднимает глаза от бумаг, коротко смотрит мне в глаза и, прочитав там что-то, отводит взгляд в сторону.

— Что дальше? — В каком плане? — Какие следственные действия ожидаются? — продолжаю я бравую атаку, представляя себя хозяином положения. — Вас оповестят, — равнодушным тоном отвечает следак, начиная собирать бумаги.

Сейчас он уйдет, меня выведут в коридор следственных кабинетов, где я проведу минут сорок, потом отведут в камеру — и снова замкнутое затхлое пространство. — Что, сказать сложно? Тайна, блин, государственная? Рома поджимает губы, типа «нет, не государственная», делает паузу и произносит: — Очная ставка будет с мамой и бабушкой. — То есть вы не доверяете их показаниям? — радостно спрашиваю я. — Нет. Просто они кардинально различаются, поэтому необходимо сделать очную ставку, — так же спокойно и равнодушно отвечает следак. — Ладно, до встречи, — говорит он, выходя в коридор, и уходит, не глядя на меня.

Ощущение использованного гондона. Меня запирают в «стакан» и оставляют ждать мента, водящего туда-сюда. Некоторые стоят вне этого сраного помещения «ноль пять на пять». Я и еще один черт — за решеткой. Те, которые вне — спокойно ходят по кабинетам, общаются, курят... Плюнув на это, я открываю «собачку» замка и выхожу наружу. Окружающие посмотрели с уважением. Другой остался в клетке и, боясь наказания, сам захлопывает дверь.

Глава 6

Я рассказываю про допрос, а сам думаю об опере, прошедшем мимо меня и, как мне кажется, не случайно появившемся именно в это время. Обед. Поев, успокаиваюсь и, только устроившись спать, подрываюсь в ужасе. Наконец меня отводят в камеру. — Ну, че?

Твою мать! Это еще куда?! И почему сразу после допроса?! Куда ведут-то? Но никто мне не может ответить на это. В хате почти все спят — посоветоваться не с кем. Я собираюсь, скручиваю матрас: одну простыню с подушкой положив внутрь, второй перевязав поперек, чтобы можно было нести. — Б...н! — гремит голос из кормушки. — Собирайся!

— Здорово, парни, — вежливо говорю я. Меня выводят на «круг» и подводят к 2/2. Отремонтированная, чистая галёра. Я ни черта не понимаю. Подводят к хате №89. Открывают.

Захожу, складываю матрас слева. Восьмиместка. Ремонт. Телевизор. Чистота. Странно.

Парень с оригинальным погонялом показывает мне, куда положить матрас, и до ужина меня забывают. Я стою, смотрю телевизор, ответив на короткие вопросы. Здесь дисциплина. По всей видимости, спортсмены сидят. Трое молодых неразговорчивых, один (рулевой) — худощавый, лет тридцати, и второй — огромный, обрюзгший (Вова), лет пятидесяти. — Здорово-здорово, — флегматично со шконки кто-то мне отвечает. — Зверь, покажи ему шконку.

— Вон там, — кивает на столик в углу, — шлёмку возьми, там рядом в пакете хлеб. — Будешь есть? — равнодушно спрашивают меня. Я киваю.

И вновь меня забыли. Я думаю: может, и к лучшему, что меня сюда перевели? Здесь спокойно, я никого не интересую, могу сосредоточиться. Становится повеселее, и я уже улыбаюсь каким-то шуткам из телека.

Проверка. Ничего себе — уже восемь?! Вывают на галёру, считают, заводят. Макс (высокий, худощавый) надевает кроссовки и перчатки. Заниматься собирается... Я стою как раз у изножья его шконки. Выйдя из прохода, он делает пару шагов ко мне...

БАМС! Тяжелый удар в челюсть, и одновременно сзади что-то накидывают мне на горло и, перетянув, дергают назад. Я не успеваю даже сообразить, как сохранить равновесие, не успеваю рефлекторно схватиться за что-нибудь. Пережав горло со всей силы полотенцем, меня тянут по полу в угол хаты. Ужас и паника от бессилия парализуют нервы, мышцы. Дыхания не хватает, гортань проваливается внутрь, перекрывая путь в легкие. Острая сухая палка будто торчит в горле, и как я ни пытаюсь чуть-чуть прокашляться и сдвинуть ее — не получается.

Меня одновременно бьют в голову — она звенит, трещит и страшно, бесконечно болит. В печень — заставляя перекручиваться, как гусеницу. В бок, снова в голову и под дых ногой. Сознание мутнеет от удушения, я обмякаю, и сколько ни пытаюсь собраться — не получается. Я плачу (может, про себя, а может, и наружу — уже непонятно) от беспомощности и жалости к себе. Я понимаю: я на полу у шконки, лбом чувствую холодную стойку... Ничего не получается... Дома остался Дэвид один... Надо его выпустить... Белая пустая пелена... Я отсчитываю ногой такт, ритм, чтобы жить... Жить? Зачем?.. Надо позвонить маме... Почему раньше не звонил... Куда всё исчезает? Ничего не фиксируется... Не зацепиться ни за что... Ритм, ритм... Он позволяет держаться в реальности... Где реальность — непонятно... Теряю сознание...

— Хуй ты у меня кинешься, гнида! — сквозь пелену слышу крик мне в ухо.

Полотенце отпустили, чувствую, как меня закидывают на шконку. Руки, вытянув вперед, привязывают к стойкам. Тело держат, на ногах сидят. Мучителей трое, четверо — непонятно. Удар в печень пронзает неожиданной болью, и я еле-еле мычу, изо рта вырываются хрипы. Но, видимо, я оглох: эти хрипы напрягают их, и, смотав полотенце, мне закрывают рот вафельной тканью, завязав на затылке концы.

Я холодею от этого «ладно». Значит, в попытках предусмотрены этапы. Да, как я мог подумать, что меня просто так полупят и отпускают... Макс встал и пошел, обогнув меня, к себе в

«проходняк». Как я ни пытаюсь — ничего не видно. Я лежу как раз параллельно и впрыток к его шконке, но она закрыта глухой шторой-простыней. Он достает что-то. Я слышу звуки железа, и мне становится плохо: он несет какой-то инструмент.

Как далеко может завести их фантазия и «добро» оперов, я не представляю. Самое ужасное — это ощущение «тюрьмы в тюрьме». Если, попав в тюрьму, ты понимаешь: всё, срыва нет, на определенный срок ты живешь так, но все же твоя жизнь сопряжена хоть с какими-то правами; ты можешь быть с чем-то не согласен, протестовать, отстаивать свое мнение. Я же в этом, и так лимитированном в правах пространстве, оказался просто в колодце, где вообще нет ни прав, ни права голоса, ни желаний — мое существование полностью брошено на произвол этих убekов, младше меня на много лет и с полным отсутствием мозгов.

— Ну что, тварь, продолжим?

У него в руках отрезок арматуры сантиметров шестьдесят-семьдесят. Специально, ублюдок, держит где-то, прячет для таких целей!

— Сейчас ты мне всё расскажешь! До тебя тут здоровее был, и то через час раскололся. Всё рассказал, пидор. И ты расскажешь. Ты у меня сотый где-то. Так что опыт с такими тварями, как ты, есть.

Он заходит в ноги, и я его не вижу. Тупая плоская боль выгибает меня рыбкой на шконке. Бьет плашмя по спине, попадая в позвоночник. Спускается ниже. Острая боль в пояснице. Наворачиваются слезы, мычу, чтобы хоть как-то выдохнуть напряжение. С размаха хлестко бьет по заднице. Очень больно. Пытаюсь скорчиться и повернуться на бок. Не дают: один из них сидит на моих ногах и держит меня в одном положении.

Сколько времени прошло? Сколько они запланировали? Ведь планируют они что-то, не просто гасят меня?! Надеюсь, по крайней мере. Холодный пот прошибает от неожиданных ударов и страха. Руки затекли, пытаюсь покрутить ими, чтобы размять, но ничего не получается. Как только начинаю двигаться — удары становятся сильнее.

— Давай-давай, рассказывай. Ты думаешь, я не люблю молоденьких? — равнодушно спрашивает Макс. — Очень люблю. Лет тринадцать-четырнадцать, самый сок! Свеженькие целочки, молоденькие, узенькие! Но всё по согласию. Я их не насилую, не принуждаю. А ты, импотент сраный, жизнь им ломаешь, судьбу...

— Что-что?! Я мычу, верчу головой.

— Я не насиловал никого! — повторяю я. Мне вытаскивают полотенце, ожидая признания. Я дышу, наслаждаюсь секундами, собираю слюну, смачиваю гортань. — Я не насиловал никого! — хриплю я. Язык не слушается, горло сухое колет и болит. — Что?! Чего ты там мямлишь?!

— Я не знаю! Очень тяжело говорить. Когда душили, они то ли кадык сместили, то ли пережали сильно горло — я не могу сглотнуть и тяжело дышать. — А кто насиловал?

— Блядь! Закройте ему пасть! — проявился Старый, не участвовавший в экзекуции. — На хуй надо, чтобы его слышали. Удар в печень. — А-а-а!

«Ага! — подумал я. — То есть на самом деле хорошо бы, чтобы всё происходящее было тайным. Ну, единственное, что радует — по проверке это закончится. И тогда придется...»

Как это ни стрёмно, но вторую такую ночь я не выдержу. Хотя еще эта не закончена! Который час? И что еще впереди? Насколько далеко они могут зайти? Я боюсь это даже предположить. Они знатоки. Удары резкие, хлесткие. Тело и мозг доведены до такого состояния, что сокращаюсь, слыша звук занесенной руки или краем глаза замечая такое движение. Стараюсь корчиться от любых ударов и не замечаю, как они значительно ослабевают. Дергаюсь по-прежнему. Хохот.

Блин! Меня поймали — будет хуже. Так и есть. — Смотри, дьявол, я еле-еле, а он косит спецом.

— Погнали!— Ну, готовься, насильник! Новая фишечка! — басит, по всей видимости, Здоровяк. Он слезает с моих ног, продолжая держать их руками. Макс примеривается, готовится.

Резкий сильный удар по пяткам. От боли темнеет в глазах. Она проникает в каждый нерв ног, разрывая его и нещадно дергая, доходит до паха и сводит в судороге промежность. Боль, поднявшись, отдает в почки, и я скручиваюсь как гусеница. Руки затекли и распухли. Хохот.

Еще серия ударов. Страшная боль, дико ноют костяшки, передавая страдание суставам, выворачивая их. Я плачу, закусив сухим ртом вафельное полотенце.— О-о-о! Ты смотри, как закрутило-то! Ну-ка!

Опа! Вот это номер! Значит — есть задание! Они выбивают из меня конкретную информацию. Ну, хоть какая-то определенность! Хотя к чему она мне?— Давай, сука, рассказывай! Что у тебя за притон был на площади Мира?!

— Ну, так расскажи, как ты молоденьких девочек в притон за шоколадки заманивал?Еще удар и еще!.. Я как уж изворачиваюсь на зафиксированных руках. Порой не могу рассчитать резкость — такая сильная боль, и выкручиваю до вывиха руку.

Киваю.Я верчу головой. — Чего? Снова верчу. — Не знаешь, про что я?

— Странно тебе, дорогуша, что так ласково тебя называю? — Тьфу ты, психолог домогренный. — Может, мне искренне жаль тебя. Может такое быть? Не справишься тебе с этой страшной страстью. Пересиливает она тебя.— Продолжаем. У меня полно, Алёшенька, сил. Первый раз меня по имени называют. К чему это?

— А это тебе наказание! Что ж ты думал, когда трогал этих девочек?!Удар по пяткам так, что я задыхаюсь от боли.

Еще удар. Полотенце как пенопласт скрипит по сухим губам, режет высохший язык. А-а-а! Еще удар! Соблюдает, тварь, какую-то четкую периодичность ударов — я не привыкаю к боли, она каждый раз внезапна.

— Так что там по притону? А?

— Ни в чем таком... — я не успеваю договорить.Я пытаюсь что-то сказать, он снимает полотенце. — Я не знаю ни о каком борделе! Это враньё! Я не участвовал в таком! — неслушающим языком говорю я. — А в чем участвовал?

— Ну, понял, Лёша, понял тебя, — он сделал жест рукой, мне вновь зажали рот и, накинувшись втроем, перевернули меня на спину.

Что они придумали, твари?! Улыбаются. Хрен с ними — так, честно говоря, легче: когда видишь их удары, хоть немного группируешься. Они привязывают руки к шконке, один садится на ноги. У того, которого этот Макс называет Зверь, непропорционально большая голова и отсутствующий, страшно-ледяной взгляд. Я выгибаюсь, потому что не могу согнуться, чтобы спрятаться от следующего удара.

Удар по яйцам, кроме болевых ощущений, страшен психологически. Яд, без эмоций. Макс хлопывает по руке арматурой и, размахнувшись, глядя мне в глаза, бьет плашмя. Живот втекает в позвоночник.

В соединении с механизмами — знания анатомии, представления о психологии. Я не оговорился, именно «представлениями», потому что если бы это было «знанием» — эффект был бы сильным и полным. А так — я понимал, что они делают, чем это продиктовано, даже в таких мелочах, как накинута на лицо простынь. И этим я был сильнее их. Но ощущение боли, в отличие от психологических реакций, я отключить не мог и мучился нестерпимо.

— Не хочешь, значит, рассказывать про Сенную?! Хорошо! Ты думаешь, нам только это известно?!

Снова зашевелилось: страх, почему-то чувство возможной вины. Может, чаще всего жертвы от пыток соглашаются оклеветать себя из чувства вины? Рефлекторно роюсь в памяти — что же я такого сделал? И тут же откидываю эту мысль: бред! Не поддавайся!

Отвязывают молча мне руки (я пытаюсь сопротивляться), и втроем укладывают меня на живот. Что, суки, вы еще придумали?

— На Московском вокзале бродяжек за сладости насиловал? А?! Тебя спрашиваю, тварь?!

Фантазия руководителей не знала границ. На меня хотели повесить все самые грязные «висяки» района.

— Так вот сейчас! — удар плашмя по заднице, по всей видимости, той же арматуриной. — Эту палочку натру перцем и... — он оттянул пояс штанов, — и вставлю тебе в задницу. Ты даже не представляешь, как горячо тебе будет. Во-первых, твоя девственная попка порвется от неё, а во-вторых, перец по свежей ране усилит впечатления. Ну?! Будем говорить?!

— Надень снова. Не понимает, блядина! Я замычал. — Сними полотенце, — скомандовал Макс одному из своих опричников. — Парни! Поверьте! — я вкладывал в интонацию максимум искренности. — Не моё это, не моё!

— Перцем! Пойми, перцем натру и засуну тебе! У меня «добряк» на такие вещи есть! Всю жопу тебе разворочу! И сильно, правда сквозь штаны, торцом надавил в задний проход.

Упоминание про «добряк» меня напрягло. Это значит — он согласовывает свои действия с ментами. Я живо представил, как «по-сухому» ребристая арматура, натертая перцем... Мне даже сложно это вообразить. И унижение, и страшная боль, когда на разорванную кишку попадает перец. Однажды мне в лицо распылили перцовый баллончик — я мучился несколько часов. А здесь... Не снимая штанов, он с силой давил и пробивал в задницу арматуриной, периодически ударяя по пяткам.

— Незадолго до тебя здоровяк был. Так его, блядь, за два часа раскололи. Ты откуда ж крепкий такой? Держись! Молодец, но недолго осталось! Я потерял счет времени. Оно для меня поделилось на промежутки ожидания ударов и отрывочных ругательств.

Я понимал: всё продолжается больше четырех часов, и что-то мне подсказывало — близко к завершению. Цель не достигается. Смысла продолжать нет, спать хочется, да и они тоже устали. Старый всё чаще спрашивает: «Ну, че, заговорил?» — нервничает. Ему тоже не заснуть из-за этих развлечений. И вот — бинго!

Макс с арматуриной уходит к себе, прячет её и переодевается. Меня отвязывают, и Зверь убирает за мной: простыня, полотенце и матрас — всё в моих вытекающих во время пыток слюнях. Я даже не представлял, сколько их может выделиться. — Ладно, на сегодня отдыхай. Продолжим завтра.

Еле встаю со шконки. Передвигаться могу только на носках. Пятки болят: если наступать на них, боль распространяется по всему телу, как свежий удар. Макс дает задание одному из парней не спать и следить за мной. Осмелев и умывшись, я прошу закурить. Мне дают пару сигарет, и я с наслаждением, почти высунувшись в «решку» (они же спортсмены — не курят, дым не переносят, для меня исключение), курю одну за одной. Немного успокаиваюсь.

Минут пять безостановочно пью из-под крана. Страшный сушняк, курево еще усугубило. У дверей кладу матрас и, скатав его, пытаюсь поспать. Но ни в каком положении я не могу расслабиться. Болит голова и всё тело: по отдельности каждый член и всё в общем. Ноги не вытянуть, не согнуть. Стоять надзиратель мне не дает. Приходится сидеть, и порой от усталости я вырубаясь. Правда, от боли я просыпаюсь и вновь вижу Цербера, сидящего напротив и наблюдающего за мной.

Они боятся, чтобы я где-нибудь не раздобыл «мойку» и не повскрывал их. Да у меня и сил-то нет ничего сделать. Спите спокойно, уроды!

В полудремотном состоянии я дожид до утра. Где-то в полвосьмого они начали просыпаться, мыться. Проходя мимо меня — оценивали. Я думал: вдруг не получится уйти от них? Менты обратно запихнут или эти затянут, а ментам наплевать будет! Черт! Эти мысли убивали меня! Трясло, и страшно болела голова.

Я кивнул, обрадовавшись: они не хотят, чтобы я оставался. — Откроется дверь, берешь свои вещи и ломишься нахуй отсюда, — громко и со злостью сказал мне Макс.

— Еще раз увижу, пидор, убью! — Что ты зашел сюда, олень?! — полусочувственно, полупрезрительно, проходя мимо, уронил старый Вова. Я вздохнул про себя. Они ничего не добились. Всё закончено. Черт! Резкий удар неожиданно в челюсть. Не выдержал Макс, потянуло размяться с утра.

Как ты злишься-то на меня! Злорадство немного подстегнуло меня. Наконец подошла проверка, и открылась дверь.

Я вышел первым, волоча за собой матрас, не в силах поднять его. Стоящий в группе проверяющих начальник оперотдела не смотрит вообще в мою сторону. Хотя конфликтные ситуации, подобные этой, когда человек отказывается сидеть в определенной камере, — в его компетенции, и он должен сразу обратить на это внимание. Психую из-за этого: я вроде как невидимка, все демонстрируют, что на меня насрать. Нет, не невидимка — отброс!

Сейчас я, конечно, понимаю: всё это планировалось, и стопроцентно по телефону (а у них он был) скинули инфу о моих действиях. Мои мучители проверяются и заходят, не глядя в мою сторону, обратно. Корпусная показывает мне: отойди в конец галёры. По всей видимости, менты проверяют все хаты на галерее и только потом займутся мной.

Отойдя в начало галёры, я стою как на арене под софитами перед злой и требовательной публикой, меняющейся через минуту. Каждые новые «зрители» с любопытством вглядываются в меня: кто-то ухмыляется, кто-то пытается понять, где мы виделись, кто-то, скорчив максимальное презрение, выплевывает в меня всю свою злость за годы заключения. Концентрат дерьма. И я — один из ингредиентов.

В таких ситуациях, думаю, можно не рассуждать: сдаешь ты эков или нет. Наконец эта пытка закончена, проверили последнюю хату. Медленно опер подходит ко мне, разглядывает. — Опусть воротник, — просит он. На шее по всей окружности кровоподтеки и огромные ссадины. — Ну, это ерунда, царапина. — Царапина?! — вскидываюсь я.

— Да меня всю ночь душили, я глотать не могу! — негромко, но внятно отвечаю я.

— Так... — он выглядит очень интеллигентно и умиротворяюще. Профессионал, сука! — А в 150-й было нормально? Опер смотрит в сторону, словно там находится что-то архиважное и он помимо своей воли вынужден туда смотреть. Пауза. Кивает, поворачивая голову ко мне.

Я покачал головой. Я вопросительно смотрю на него. — Ну, там не били, ничего такого?

Опер разворачивается, и все за ним переходят на другую галёру. Корпусная запирает меня в «стакан» и присоединяется к ним. Значит, меня вернут обратно?! Ладно, там хоть отдохну и чаю попью. Я стою в «стакане» и жду конца проверки. Наконец обход завершен, меня подводят к камере. Открывают. Никто даже не поднимает головы — все спят.

Я тихонько кладу матрас под вешалкой, потому что на свою шконку закидывать его неудобно: внизу спят, и я не хочу никому мешать. У меня всё болит, и мне совсем отвратительно. Сажусь на матрас, облокачиваюсь на стенку и закрываю глаза. Ничего себе проверку мне устроили... В тишине спящей хаты я расслабляюсь и засыпаю.

— Ты голос-то не повышай. Спокойно расскажи, как всё было. Вздрагиваю от удара по ноге. Это проснулся Вито, за ним поднимаются остальные. — Че здесь сидишь? — Не хотел залезать наверх будить нижних, — максимально дружелюбно отвечаю. Меня трясёт от любого повышенного тона. Постарайтесь меня не замечать! Пожалуйста! — Где ты был? — с презрением спрашивает Вито. — В 89-й. — И че там? — Ничего. Убивали всю ночь. Кололи. — А ты? — Да не в чем колоться. Не знаю, что им надо было!

— Да ты че орешь-то? Начиная с момента захода в хату, я рассказал про вчерашний вечер и ночь. — Сознание не терял? — спросил Вито, намекая на то, что я могу чего-то не помнить, а меня в это время могли зашкварить. — Не, сознание не терял.

— Ну и дальше?! — он присел на корточки передо мной. Я, кстати, совсем негромко отвечал, но это было неважно.

У меня надулся сухой твердый комок в горле. Я понял: отдохнуть не получится. Руки миготом стали мокрыми и скользили по штанам; я приподнял их, чтобы они высохли.

— Ты че руками тут машешь?! — привлекая внимание остальных, заорал Вито.

Я судорожно замотал головой: мол, ничего такого даже не думал. Говорить было трудно. Сокамерники повернулись на голос Вито.

— Что ты сказал?! — продолжал он.

— Ну! — обернулся Вито. — Совсем охуел! Гнида! Живот мой сжался и поднялся к груди. — Буровит насильник?! — спросил кто-то.

— Что?! Еще и уворачиваешься?! — возмутился Вито, словно это было запрещено. Началось! Слева полетела рука, и я, из-за его жирной неуклюжести, успел увернуться.

Второй удар я уже пропустил, и он послужил сигналом к взрыву в хате. Закричали и застучали руками о шконки, словно они сидели в амфитеатре, а на арене умирал гладиатор. Но Витины оплеухи оказались легкой разминкой перед бенефисом другого персонажа. Я сидел на полу спиной к дальняку. Сзади вырос двухметровый, худой, жилистый блондин с мертвыми глазами: Беляк. В хате он жил обособленно, ни с кем практически не общался, но в дележе героина был первым. Читал и с расстановкой рассказывал о прочитанном — естественно, после укола. Так он рекламировал мне интересную книгу под названием «Преступление и наказание». Помимо высокого интеллекта, он еще был на постоянной связи с операми, что в глазах остальной шелупони делало из него непререкаемого авторитета.

— Ублюдок! У меня дети тоже! А ты насилуешь их! — заорал он и, подняв ногу, с размаху пяткой ударил меня в живот. Вот этот персонаж обошел меня и стоял сзади Вито. От его присутствия я сжался совсем и приготовился к худшему.

— Да таких, как ты, убивать, гадина, надо! — он накачивал себя, я это прекрасно видел. Никаких детей у него не было никогда, и ему было абсолютно насрать на меня. Прицелившись, он четко правой ногой ударил меня по ноге, попав в то место, которое Зверь профессионально отбивал ночью. Меня парализовало ниже пояса от боли. С криком я завалился на бок и схватился за ногу. Не ожидая такого удара, я не успел сгруппироваться. Пятка четко вошла в солнечное сплетение, я задохнулся.

Увидев такой эффект, Беляк начал колотить ногой в больное место быстро и с ожесточением. Я задыхался и от ударов уже не мог уворачиваться. Вито отошел и с улыбкой наблюдал со стороны. Остальные в хате побросали свои дела и следили за спектаклем. Устав колотить правой, Беляк прицелился левой и со всей силы вlepил мне по второй ноге. Свежая, здоровая конечность заболела резче и сильнее. Я перевернулся на другой бок, прикрываясь и стараясь восстановить дыхание.

Еще раз пробив в правую ногу, мучитель нагнулся и молча пристально посмотрел на меня. Не знаю, что он хотел выразить своим взглядом, но, кроме полного отсутствия интеллекта и степени дебилизма, я ничего в нем не увидел. И словно в наказание за эти мысли голова моя резко откинулась назад, треснув о стенку. Затылку стало тепло, я почувствовал, как кровь льется за шиворот.

Увидев кровь, он озверел и начал беспорядочно месить меня ногами, вбивая в пол. Я лишь охал и чуть-чуть подвывал. Я хотел умереть. Почему те не задушили меня еще ночью?.. Наконец он выдохся и, помыв руки, спокойно сел на шконку.

— Нет, сука, как дьявол!!! Пи-пи-пи чего-то там изображает! — спокойно подытожил он. — Убери за собой, животное! — сказал он про размазанную по линолеуму и стене кровь.

На полусогнутых от боли ногах я пошел за тряпкой. Неслушающимися руками стал затирать стену и мыть пол. За спиной началось обсуждение, как лучше вообще таких, как я, заста-

вить говорить. Стараясь не поднимать глаз, чтобы не вызвать очередную вспышку ожесточения, я мыл и тер.

Я вновь кивнул. — Иди сюда! — позвал Беляк. Я послушно подошел — от моего самолюбия уже мало что осталось. — Сейчас я пойду к оперу и скажу: ты готов на признанку, — Он посмотрел на меня. — Понял меня? Я кивнул. — Ты пойдешь и подпишешь всё, что он скажет. Понял?

«Иди куда угодно, — думал я про себя. — Мне главное вырваться отсюда, а там разберемся».

Беляк подошел к кормушке, подозвал корпусного, что-то сказал ему. Тот открыл дверь, и Беляк вышел. Вернувшись через десять минут, он кивнул мне с порога на дверь. Я еле-еле встал с матраса, на который пять минут назад опустился, и, согнувшись, как глубокий больной старик, вышел. Корпусный безучастно скользнул по мне глазами (его не касался мой вид, это дело оперов) и повел налево, в оперчасть.

За дверью был небольшой коридор с маленьким глухим «стаканом» в начале и двумя парами дверей кабинетов. Подойдя к одной из них, корпусной постучался и немного подобострастно спросил разрешения. Ответ. И, проведя меня внутрь, он ушел. Посередине кабинета стоял карликовый опер ростом около метра шестидесяти, и деловито меня осматривал. Он был молод и хорошо упитан.

— Не ожидал я такого расклада, — задумчиво продолжил опер. — Перестарались ребята, походу. Я не просил так тебя метелить. — Садись, — показал он на стул. Я опустился с облегчением — дико болели пятки.

— А по притону на Сенной? — протяжно подталкивал опер. У меня немного отлегло: значит, можно пользоваться своим состоянием. — Ладно. Ну, что там с признанием? — Давайте, подпишу признание по делу, — мне было уже всё равно, да и я рассчитывал: откажусь от них на суде.

— То есть ты поджидал эту маленькую девочку, зашел за ней в парадную, схватил, стал раздевать... Хотел, чтобы она в свой детский ротик взяла... Понятно теперь! Всё по наводке оперчасти. — Не-не! Ни Московский вокзал, ни притон на Сенной я не возьму! — мне почему-то стало наплевать: будут меня еще пытать или нет. По крайней мере, я не собирался любыми путями избегать пыток. — А что возьмешь? — медленно и спокойно прогуливаясь по кабинету, спросил Азаров (так, узнал я впоследствии, звали организатора моих пыток). — Сто тридцать пятаю свою.

— И всё? Меня заколотило, и я перебил его: — Нет! Это категорически нет. Вкратце, как в обвинении: «Зашел за девочкой, схватил... она закричала, я побежал».

— Ладно. Иди пока в «стакан». Я кивнул.

Я вышел из кабинета и забрался в темный тесный «стакан». Азаров закрыл дверь. Внутри были одеяла, и я, зарывшись в них, задремал. Прошло около часа, дверь открылась.

— Вещи его соберите. — Пошли, — сказал опер и, выведя меня на галёру, подвел к сто пятидесятой. Я отпрянул, показывая, что не пойду туда. Азаров равнодушно посмотрел на меня и, открыв хату своим ключом, скомандовал:

Я вздохнул с облегчением: меня не собирались там оставлять. Вынесли матрас, пакет и тапки. На галёре Азаров передал меня другому оперу, и тот повел на четвертый этаж. Что ждало меня сейчас?.. В контексте произошедшего невозможно представить, но казалось, что пытки не повторятся. Новый опер внешне показался более располагающим, и когда он открыл дверь камеры, я зашел туда, особо не волнуясь.

Двенадцатиместка со срезанным третьим ярусом. Помещение выглядело странно пустым. На шконках в беспорядке белье, в углу несколько каких-то пакетов, на столе скучали две кружки. На меня равнодушно воззрились трое эков. Четвертый лежал на шконке и, судя

по виду, к первым трем отношения не имел. Дверь закрылась, и один из них — со свирепой и круглой башкой — подошел ко мне.

— Падай вон, на соседнюю с Борей, — показал он на шконку второго яруса. — Ложись, отдыхай. — Здорово, — мгновенно я понял по голосу и без глазам, где зрачок был с точкой в конце предложения, что собеседник упорот в говно. За ним стояли высокий молодой парень с располагающим лицом и непонятного возраста таджик, также еле стоявшие на «приходе». — Я — Лёха Бешеный. — Здорово, — ответил я, кивнув уважительно на погоняло.

Завершив мой беглый осмотр, Лёха кинул это и повернулся к корешам. Я расправился трясушимися, неслушающимися руками и лег. Заснуть, конечно, я не мог, но с наслаждением вытянулся и расслабился. Закрыв глаза, я невольно прислушивался к разговору новых соседей, однако ничего пугающего или опасного для себя не услышал. Они обсуждали завтрашнюю «делюгу» по затягиванию героина. Хорошо — у меня долгий перерыв, и эта проблема меня не волнует.

Боря же, мой сосед, исходил на говно.

Его кумарило. Он пытался присоединиться к организаторам с целью совместного употребления: пропихивал парням, что может достать денег, только возьмите в долю, тряся и психовал. Наконец ему дали телефон, и он набрал маму. Более омерзительного, наглого разговора с матерью я еще не слышал. Он не просил, не умолял, а требовал, настаивал. Мама должна была принести деньги, очень ему нужные (не заморачивался даже придумать красивую причину), по определенному адресу.

Мама, видимо, небогатая женщина, успокаивала его и извинялась — она не могла сейчас ничего передать: зарплата только через неделю, а всё ушло на прошлую передачу ему же, родному. Это сына нимало не волновало, и он, разве что не матом, орал на мать с требованием денег. Кончилось тем, что он повесил трубку и долго возмущался маминой непонятливостью. Трубку у него забрали и больше не давали, послушав эту беспонтовую получасовую разводку. Он еще пару раз рвался позвонить, видимо, придумав «сногшибательный» ход: мол, мама поведется и даст денег. Но внимания он был лишен.

— Боря, залезь к себе и отдыхай, — свирепо сказал ему Бешеный, устав от его прыганья.

Я же потихоньку ворочался с закрытыми глазами, успокаивая ноющее тело. Под вечер они достали утренние остатки и по очереди догнались. Разве что не на коленях Боря умолял слить ему пару точек. Парни игнорировали. В расстройстве Боря улегся на шконку. Поставившись, ребята стали готовить, и я с удивлением обратил внимание: они достали пять шлёнок. Значит, гнобить меня здесь не будут. Хотя на том спасибо.

— Пойдем-пойдем, — нетерпеливо сказал корпусной, смотря куда-то вбок, на галёру. Звук открывающейся хаты заставил неприятно вздрогнуть. Психоза добавили слова: — Б... н. Пошли. Соскочив со шконки, потерянным голосом я спросил: «Куда?»

И я понял: здесь бесполезно что-то просить. Брюнетка повернула меня спиной и долго оглядывала задницу. Как я потом понял — она искала следы сексуального насилия. Мне сказали одеться и совершенно цинично выдали на прощание таблетку анальгина. Моим соседям было совершенно наплевать, кого и куда уведут: у них был «приход золушки». Корпусной повел меня на третий этаж. Пройдя галёру до конца, мы подошли к соседней от оперов двери. За ней я уже облегченно вздохнул. Это был медпункт. Там сидели две пожилые медсестры и молодая высокая брюнетка, майор — видимо, начальник санчасти. Меня раздели, заставив снять даже трусы. Тут я решил на всякий случай пожаловаться — может, подлечат. — Меня по яйцам били трубой!.. Я не договорил. — Ну, что ж делать! Статья такая — правильно били! — резюмировала пожилая медсестра.

— Понятно. Садись есть. В хате Лёха через плечо спросил: — Куда водили? — В санчасть! Смотрели, не отъебали ли меня! — со злостью ответил я. — Ну и как? — весело спросил

брюнет. — Что? — Отъебали? — так же весело, с подколом, спросил он. — Нет, конечно. Били по штанам железным прутком, пятки отбили, печень, ну и так...

Горячее пюре, сваренные колбаски и салат из овощей с трудом проходили через разбитое горло, но вкус успокаивал и нежно обволакивал желудок. Я с удовольствием поел. Выпили горячего сладкого чая, и стало повеселее. Стало спокойнее, даже немного захотелось спать. Поблагодарив парней и помыв шлёмку, я залез на шконку и уснул.

Проснулся на проверку. Не соображая, где я, автоматически вышел, зашел и снова завалялся. Организм устал от двухдневной нервотрепки. Парни поставились еще раз и стали координировать завтрашнюю передачу. До меня им не было никакого дела. Я поискал внутри желание вмазаться — всё-таки торчал... но ничего не было. Абсолютно наплевать. Я вырубился до утра.

Проснулся от крика Бешеного.

— Юля! Я тебе еще раз говорю: встречаешься с Геной, берешь у него деньги, покупаешь говно и на остаток делаешь передачу! Что непонятно-то?! Юля, очнись, семь утра уже! (Юля отвечает). — Да ты гонишь! По пути поешь! Возьмешь денег — купишь шаверму себе. Что? Долго ты мыться будешь?!

— Да. А передачу уже сделает Лена. (Юля что-то верещала). Хорошо-хорошо. Полчаса. Мойся, одевайся и поезжай. Брюнет тронул Бешеного за плечо. — Да пусть помоемся, — вполголоса сказал он. — Гена и так охренеет, когда чудовище это увидит. Бешеный посмотрел на него.

— Дай бог! — влез Мустафа, так звали третьего, таджика, аккумулирующего все связи по героину. Со злостью он повесил трубку. — Она уже, сука, упоротая, порассуждать её тянет... Советует она мне чего-то! Долбануться можно! — А она не проторчит всё? — с недоверием спросил брюнет. — Нет, Серега, это сто процентов. Она хоть и наркотка, но не мразь. Уже сколько раз выручала.

— Во! — воскликнул Серега. — Пока чифирнем. Я не спеша встал, умылся, привел более-менее себя в порядок и попросил у парней чая завариться.

Заварили пять коробков на зэчку хорошего мелкого листа. Разлили по кружкам, чтобы не гонять туда-сюда. Мне выделили конфету... Я был счастлив. Горький чифир взбодрил и немного поднял настроение. Приехала каша, и все порции мы с Борей забрали себе. Обожравшись, я еле выполз на проверку и вновь завалился спать, краем глаза прикалываясь по движухе.

— Да не было никогда такого! Никогда она не кидала! — орал Бешеный, видимо, предчувствуя кумары — в последний раз они вмазались ночью, и прошло уже больше восьми часов. К восьми часам парни скрестили Юлю с Геной. Деньги были у неё. Теперь настала очередь Мустафы. Он очень быстро с кем-то поговорил и сказал, куда надо ей передать. До героина Юля добралась еще быстрее и... покинула частоты передачи сигнала мобильного телефона. Бешеный орал на трубку: — Блядь! Чтобы я хоть раз с тобой связался! — Я же говорил тебе, — укоризненно сокрушался Серега.

— Я ей устрою нахлобучку! — орал Бешеный. — Сейчас позвоню Тёме, он её по запчастям разберет! Пизда ебаная! — психовал Лёха, одновременно набирая подруг, и вдруг подпрыгнул: — Есть! Один Мустафа был невозмутим и хладнокровен. Правда, это могла быть особенность национального темперамента, но он успокаивал друзей: — Подождите. Может, у нее нахлобучка какая-то?

— Юля, блядь, ты что творишь?! Куда ты делаешься?! (Ответ Юли). Какие люди?! Кто за тобой следит?! Слышь, я тебе говорю, ты не мешай барбитуру с говном — у тебя крышу рвет. Езжай в «Ленту». И давай быстрее. Еще говно в «Геркулес» тарить. Он припал к трубке, парни замерли.

— Будем надеяться, — мрачно буркнул Бешеный. — Поставилась? — с иронией спросил брюнет. — Конечно! Уже в мясо! Еле языком шевелит. Теперь ей надо всю дорогу звонить,

чтобы не залипала. Брюнет схватился за голову: — Блин, я представляю себе. Это же палево ходячее.

Семимильными шагами передвигалась девушка до гипермаркета. Бешеный старался её не оставлять, постоянно созваниваясь. С грехом пополам Юля закупила передачу, выклянчив себе несколько шоколадок, и отправилась в туалет прятать героин в кашу. Как всегда, покупалось несколько пачек овсяных хлопьев; маленькие героиновые шарики равномерно перемешивались и практически сливались с массой. При приеме передачи разглядеть их, не зная, невозможно, поэтому таким способом пользовалась почти вся тюрьма. Килограммами выносили на помойку мешки с «Геркулесом» — перебрав, кашу выкидывали.

Юля тем временем отправилась уже в сторону тюрьмы, ненадолго выпав снова из поля контроля Бешеного.

— Точно. — Опять поставилась? — спрашивал Серега. — Походу. Блядь, она... На Лебедевку приползет.

Попсиховав еще полчаса, Юлю подняли в каком-то садике со скамейки, где она присела отдохнуть, и отправили дальше. В пункте приема передач уже ждала Лена — по-человечески выглядящая девушка, естественно, не подозревающая, что она будет отправлять на свое имя. Ей причесали: мол, Юле нельзя доверять, у неё нет паспорта, еще чего-то там... На самом деле, если бы Юля подала передачу, то, лишь единожды взглянув на нее, посылку перевернули бы вверх дном.

Наконец Юля сообщает, что приехала. Созваниваются с Леной. Та её не видит. Перезванивают Юле. Та спокойно отвечает: «Я на месте». Снова Лена: «Посмотри по сторонам, девушка с сумкой». Лена отвечает: «Да нет тут никого».

В бешенстве — Юле: «Ты че паришь, гадина, заторчала где-то?!» Юля обижается, вешает трубку. Кусая локти и сдерживаясь, Бешеный извиняется еще раз, спрашивает: «Где ты?» Юля: «На месте». Полный пиздец. Что происходит?

— Это Юля!!! Лене: «Посмотри, она должна быть там». — Блин, парни, здесь несколько женщин, пара мужиков и какая-то скрюченная старушка в вязаной шапочке. Бешеный орет:

— Очень-очень плохо Юля выглядит. Но человек неплохой. Лена в крайней степени удивления наконец забирает передачу. Серега хохочет. — Да как она выглядит-то, Бешеный? Вообще пиздец? Бешеный сначала хочет что-то резко ответить, потом делает паузу и тоже хохочет:

Наконец передача была сдана. Парни уселись рядом с кормушкой. Боря, исходя на говно, клянчил у Бешеного еще не полученный кайф. Кончилось тем, что он осточертел Бешеному, и тот приказал ему не слезать со шконки до вечера. Наконец... Бинго! Открывается кормушка, и, разве что не выдирая из рук баландера мешки с «Геркулесом», парни удаляются вглубь.

Всё остальное принимаю я. Раскладываю колбасу, сыр, «запарики» и сигареты по шконке... Баланду не беру — обед готовим сами. Парни суетятся, вмазавшись. Я же, наевшись, заваливаюсь спать. Но не получается. Бешеного тянет на общение, и он подсаживается, показывая мне фотки своей девушки с хануриком. Боря с перекошенным от напряжения лицом ищет в перебранной уже каше остатки героина.

Открывается дверь — на пороге стоит опер. Тянет Бешеного. Ребята абсолютно спокойны, и я понимаю: опера в курсе и не мешают. Через двадцать минут появляется Лёха, подсаживается.

— Если не завалят раньше, — с улыбкой добавил Серега. — Знаешь, чё у меня спрашивали? Я вопросительно киваю. — Не просил ли ты кайф. Я улыбнулся. Значит, вот как они решили меня обработать. — Этого следовало ожидать. Не просто же меня сюда закинули. — Ну да... Я, в общем, сказал как есть. Что ты даже не заикался. Я кивнул и поблагодарил непонятно за что. — Да не за что. Держись, тебе еще дохуя терпеть.

Я кивнул. Врет, конечно, но главное — впереди спокойный вечер и ночь. С такими событиями начинаешь ценить буквально минуту, четверть часа в спокойствии. Понимаешь и ощущаешь плотность времени. Благодарю господу за спокойный день, потому что впереди нечто малопредполагаемое. Холод пробежал по спине. Хотя и бред — все равно психуешь. — Отдыхай, короче. Завтра поедешь дальше. Он хотел сегодня, но я попросил: нормальный парень, пусть передохнет.

Ночью, как обычно, снится разноцветная ерунда, фантасмагория цветов и непонятных ощущений. Просыпаясь, вижу бесконечно занимающихся какими-то бытовыми мелочами, упоротых в говно, чухающихся парней. Засыпаю и стараюсь проснуться еще через небольшой промежуток, чтобы, посмотрев на часы, убедиться: до утра еще долго, спать дальше. Так я растягиваю ночь практически до состояния бесконечности. Как в одной известной задаче, я разбиваю, дроблю время на маленькие отрезки, создавая иллюзию длительности.

Но наступает утро, и меня вновь куда-то ведут. Нервы мои в небезопасно натянутом состоянии. Куда я иду? Что меня там ждет? Что вновь придумали опера? Может, их взбесило: пиздюлятор не помог, на наркотики не повелся. «Сейчас мы его!» Но что это может быть — даже в самых страшных фантазиях я представить не мог.

— Это Азаров, у него свои методы. Поверь, больше ничего не будет. Спустились на третий этаж и вошли на галёру, где находится кабинет опера и та 150-я, где сутки назад меня долбили. — Я никуда не пойду, — твердо сказал я, остановившись у локалки. Для меня вся эта галёра представлялась этой хатой. Опер повернулся ко мне. — Давай, я поговорю с людьми — всё будет нормально. — Меня уже таким образом в 150-ю завели!

Глава 7

— Это Азаров, у него свои методы. Поверь, больше ничего не будет.

Я молчал. Он подошел к хате, открыл её и пару минут о чем-то разговаривал с парнем, вышедшим оттуда. Парень выслушал, кивнул, и опер подозвал меня.

О 155-й рассказывать нечего. Я провел там тихо и спокойно месяца полтора, пока не появился Сережа Горюнков. Метр восемьдесят с чем-то, здоровый, лохматый — его только что отдуплили в той же 150-й. Зашел он в хату осторожно и остановился у двери.

— Эй, дружище, не надо психовать, бояться, здесь всё нормально, — ободрил его само-названный «смотрящий» нашей шестиместки, наркоман с Озерков Бенья. — За что били? Молчит.

Сережа присел и рассказал: глушили за статью. Выяснилось — то же, что и у меня. Ладно. Покивали головами: слишком много маньяков... и занялись своими делами. Только один не мог уgomониться и задавал прибывшему вопросы. И через некоторое время выясняется: это не первая у мальчика Сережи судимость по такой статье. В результате спокойно, но настойчиво Сереже сказали: на утренней проверке собираешь шмотки и иди дальше. Короче, вставай на лыжи.

Сережа спокойно ушел. А вечером меня позвали с вещами и поселили в четырехместной отремонтированной хате на четвертом этаже вместе с этим Сережей, которого, по всей видимости, выкидывали отовсюду. Теперь же я смог рассмотреть вблизи это существо, называвшее своих потерпевших мальчиков «моими друзьями».

Почти молча мы располагались в чистенькой светлой хате, и по блуждающей на губах соседа улыбке я понял: именно он инициатор этого переезда, счёл его самым безопасным — со мной. Сразу же я обратил внимание на его привычку высоко подтягивать штанишки, так что они чуть ли не впивались в промежность. Для меня он был огромен и чересчур волосат. Очень брезгливо я отношусь к избыточному волосяному покрову (что-то, видимо, во Фрейде надо искать), а в сочетании с яркой гомосексуальностью это вызывало просто тошноту.

Он разложил еду по решке... Сразу было видно — греют его хорошо. Но спрашивать у него что-то было противно. Заправившись, я лег и закрыл глаза. В молчании прошло время до ужина, и первым попытался сломать неловкость Сережа. Предложил сделать шашки, осознав невозможность жить в полуметре от человека в вечном молчании. Я согласился, и мы, попив чаю, перебрались в шашки. Потом занялись чем-то незначительным: приготовлением ко сну. Меня немного напрягло, что Серёжа несколько раз демонстративно прятал кожаный чехол у себя под подушкой. Стало понятно: хочет дать понять, что он готов ко всему. «Дурак, — подумал я, — нашёл перед кем выделяться». Я лёг и в полной тишине почти мгновенно уснул.

Следующим днём мы пошли на прогулку, где Серёжа лихо размахивал ногами, колотя пяткой по стенке и давая мне понять: не надо против него ничего замышлять. «Вот это паранойя», — подумал я и закурил. Слава богу, Валя, моя двоюродная бабушка, отправила мне передачу, и стало повеселее. Я заварил чай, поел бутербродов и даже о чём-то поговорил с Серёжей.

Длительного общения с ним я не выдерживал: он был для меня прозрачным, с пакостным маслянистым взглядом, круглой пластикой пальцев, бегающими и внезапно останавливающимися глазами. Было понятно: он весь подчинён, подавлен и полон своей грязной страсти. Он не оправдывает себя, не скрывается от неё — наоборот, считает её чертой своей личности, неповторимой, необычной. Ему позволено так жить, он в этом уверен. Много позднее я встречу похожего на него человека, спокойно рассказывающего о продаже малолеток, но о нём — во второй части.

Я набираю книг в библиотеке и, уткнувшись в них, отдыхаю в тишине. Слепое подчинение страсти — черта, как правило, невежественных, глупых и односторонних людей. Он с ненавистью наблюдает за моим чтением, недоумевая, как можно тратить время на обычные чёрные буквы, раскиданные словами на белом фоне. Мне смешно и печально. Для других нет разницы между мной и им: нас объединяет и определяет поганая статья, самое мерзкое из названия которой — слово «развратные», ассоциирующееся с чем-то совсем недостойным, низким и пакостным. Хочется руки вымыть.

— Какого хрена меня сюда закинули?! — возмущается Ёж. Так мы живём молча с Серёжей неделю-другую. Появляется Ёж — обычный наркот-одиночка, охреневший от наших статей.

Психовать-то психует, а сам косится на забитую продуктами решку и через некоторое время уже сам берет без стеснения мои продукты, забыв, что по понятиям стрёмно порядочному пацану хавать с такими, как я.

Ещё через пару дней появляется Виталик — домушник, карманник. Рассказывает неправдоподобные истории о своих похождениях, ограблениях в отеле «Европа» и непрерывно опускает голову вниз, водя подбородком по груди, будто пытаюсь избавиться от чего-то мешающего. Восемь лет спустя я встречу его в Карелии, в больнице — умирающего от рака желудка, высохшего, с бессмысленным взглядом, уже ничем не напоминающего того весёлого крепыша, зашедшего к нам.

Посидев недельку, мы просим на проверку замполита Петровского — впоследствии осуждённого за злоупотребления и чего-то там ещё — дать нам телевизор. Просьбу мотивируем тем, что здесь двое маньяков, проблем никаких, смотреть за нами не надо. Получили телевизор. Счастье! Он позволяет избежать ненужных разговоров, которых я буду сторониться и страшно бояться весь свой срок.

Здоровый Виталик очень любит мультфильмы и, радостно открыв рот, следит за героями «Простоквашино» и «Винни-Пуха». У него полно друзей на галёре, и нам загоняют гашиш. Серёжа — редкий трус, он отказывается от предложенного наркотика, так как боится потерять контроль. Мы же курим, ржём и едим мои продукты. Серёжа своими не делится — он жаден до безобразия.

Спустя пару дней после отъезда Виталика (его везут на Яблоневку) [1] нас выводят на галёру и ведут к туберкулёзникам. Откуда что берётся — мы в совершенно непонятках. Оказывается, у Виталика была открытая форма туберкулёза. А как к нам его закинули, никто не понимает. Слава богу, всё обошлось, но эта неделя анализов и ожидания результатов сильно нас вымотала.

Появился Витя-Полковник. Настоящий военный, служил в тылу. Из-за махинаций по 159-й его закрыли. По всем существующим нормам он должен сидеть с бывшими сотрудниками (на БС) [2], но из-за того, что по делу у него проходят разные высокопоставленные дяди, его игнорируют, и все заявления, видимо, никуда не уходят. Витя — спокойный, рассудительный, мудрый. Следит за своими усами и ездит на суд идеально опрятный, отглаженный и отутюженный. Эти пару месяцев в 89-й хате я буду вспоминать в течение всего срока как самую спокойную каморку в этом враждебном мире.

И в один прекрасный день всех нас, уже оставшихся без Ежа, переводят в 127-ю хату на третий этаж. Репутация у неё плохая: со всей тюрьмы там собирали всю нечисть — мышей, гадов, крыс, фуфлыжников, ну и, наверное, таких, как я с Серёжей. Безусловно, рулят там «красные» — СДПшники [3] и стукачи, также загаженные в этой хате. Теперь же всю хату раскидали, и мы первые, кто устраивается здесь.

Выбираю «конку» у окна внизу. И хоть по всем раскладам мне не положено здесь спать, сразу, как Серёжа залез на второй этаж, я занимаю место. Рядом ложится Полковник. Он,

кстати, за всё это время так и не знает, за что я сижу — я искусно избегаю об этом говорить. За три недели мы ни разу в это не вдавались.

Камера постепенно наполняется народом. По вместимости это одна из самых больших хат на Лебедевке — где-то порядка 30–33 человек может сидеть. Грязные, обшарпанные стены, жёлтый от никотина и смол потолок, вывернутая и расколотая плитка на полу. Две решки высоко от земли, грязная, засаленная ширма, отделяющая дальняк, рядом — разваливающаяся база.

Понятно, что здесь жило всякое отребье. Люди заходят группами и поодиночке, никто особенно друг с другом не общается, но уже по виду выделились определённые типы. Вот этот высохший, с глазами на выкате и бегающим взглядом наркоман — сто процентов будет выяснять, за что я сижу. Этот жирный, весёлый «маргарин», настоящий торпеда — будет во всём двигаться с группой. Пацан спортивный, хорошо одетый, с мёртвым взглядом — тот самый опасный, его переполняет желание власти, а слабость других — это, как правило, основание, на котором опирается его могущество. Жирный, высокий азер — тоже мало приятного, скорее всего барыга, и будет вести себя так, чтобы показать, якобы он при делах. Во избежание качелей против себя он первый накинется на других — своеобразный отвод от себя. Ну и просто мужики, воры, наркоманы — простые, недалёкие. Они вторыми после азера плюнут в изгой.

Большую часть времени я провожу лёжа, делая вид, что сплю, стараюсь избегать разговоров и общения. Понимаю: это палево, и наоборот, такая отчужденная позиция потихоньку привлекает внимание, но ничего не могу с собой поделать.

Потихоньку прошло уже пару дней. Зэки знакомятся, вспоминают общих знакомых и объединяются в группы. Одни группы безобидные — они предполагают просто взаимовыручку, вместе ищут чаёк и общение. Другие, напротив, либо одержимы какой-то жадой власти, либо объединяются в целях собственной безопасности (так кучкуются «красные»), либо для соединения усилий по поиску героина. Одна из таких групп, сколоченная из «козлов» и приклатненных наркотов, начинает анализировать ситуацию и людей.

— Слышь, а ты за что сидишь? В один прекрасный момент ко мне подходит один из довольно активных её участников и громко, во всеуслышание спрашивает:

— Ты что, охуел?! — расходится парень, играя на публику и готовя кипиш. — Поселился тут, на шконке хорошей живёт, блядь! Типа блатной? А может, ты блатной?! Я не делаю паузы, не выгадываю время — всё уже понятно. Судя по виду Серёжи, отвернувшегося в сторону, с ним уже поговорили и заодно выяснили про меня. — Сто тридцать пятая.

— Ты что, охуел?! — расходится парень, играя на публику. И так уже всклокоченные для кипиша. — Поселился тут, на шконке хорошей живёт, блядь! Типа блатной! А? Может, ты блатной?

Меня трясёт, но стараюсь не показывать страха.

— Так, давай, развратник, короче, скручиваем матрас, и вон туда, на «пальму» падай! — Послушай, Полковник, а ты чего молчал? — обращается с претензией парень к Вите, сидящему совершенно в растерянности. — Да я вообще не знал, за что он сидит! — оправдывается Витя. — Думал, у него двести двадцать восьмая...

Я молча собираюсь и переезжаю. Виню себя — единственное, надо было сразу эту ситуацию прояснить, чтобы бесполезно не расстраиваться. Теперь же я — униженно поставленный на место изгой. Забираюсь наверх и стараюсь меньше слезать.

Витя общения со мной избегает, ему уже нассали в уши, мол, я стрёмная хрень. Ломать хлеб с таким персонажем, как я, могут на общем предъявить.

Хата образовалась крайне разношёрстная. Блатные редко, но заплывают. Костяк неменяющийся — это несколько бывших СДПшников, наркотов, постоянно что-то разруливающих, достающих кайф, отстукивающих по всяким порожнякам, по соседям в поисках информации, друзей, связей, просто для обмена приветствиями. Особенно как вмазались — понеслось.

И пошёл день за днём, и мало-помалу с Витей мы вновь стали общаться. Лежу, наблюдаю за непрерывно меняющимися лицами. Убираемся в хате мы вдвоём с Серёжей.

Его не напрягает это, и он с удовольствием наблюдает за мной, как меня корёжит. Видимо, где-то что-то сломалось. Я боюсь и убираюсь молча. Встаю и отвечаю против наглого хамства или попыток унижить, но... убираюсь. Ничего не поделаешь — с такой статьёй ещё молиться надо, чтоб в петушни не уехать. Хотя всё от человека зависит.

Трах, бах, тарарах! Просыпаюсь. Где-то пять вечера, в хате крики, выяснения. Не слезаю, хотя очень хочется ссать, пытаюсь понять, в чём дело.

Петрович лежит с телефоном и, по всей видимости, решает судьбу Маги, сидевшего на Лебедевке в сто пятьдесят первой и зарекомендовавшего себя как профессиональный инквизитор. В его небольшой хате пытали, выбивали явки, издевались и заставляли переписывать недвижимость других осуждённых. Естественно, менты были в курсе, и на сто процентов уверен — в доле. Теперь же его слили, слишком много людей поломал. Слили сами менты, и он сидит, обосравшись, оправдывается перед блатными в нашей хате.

— Будем надеяться, Маге пиздец! Но, несмотря на очевидную информацию о его бесчинствах, нужны очевидцы, реально видевшие его пакости или на ком они отразились. И в хате есть такой человек — спокойный, маленький наркот, проехавший через всю эту камеру пару месяцев назад и лишившийся за несговорчивость двух зубов. Он подтверждает, и Петрович удовлетворённо вешает трубку:

Но в этой системе никогда нельзя быть уверенным в чём-то. Вполне возможно, Мага может что-то предложить, замазать, смягчить свою вину. Хотя этого я никогда не пойму. Блатные смакуют там, а Юра — маленький, чахлый, без зубов — здесь. И никогда больше они не встретятся, чтобы дать ему законные, положенные проценты сострадания. Они считают: мы в своём праве, с нашей помощью виновник несёт наказание, и все бонусы нам, не потерпевшему. Разобрались. Живём дальше.

После обычного могильного обеда в четверг открылась входная дверь и завели Вито. Неприятные мурашки побежали по телу, противная сухость и перманентный колотун — слишком неприятные воспоминания связаны с этим человеком. Пару дней он ходит молча, присматриваясь и принимаясь. На почве затягивания героя он сошёлся с козлиным костяком хаты и стал чувствовать себя намного увереннее. И конечно, вмазавшись, Вито потянуло к общению.

— Ну что, как ты, Лёха? — неожиданно подошёл ко мне. — Плохо выглядишь, ослабился, гадина.

Я молчал. Бесполезно с ним бодаться: он уже при поддержке, а я навсегда один.

— Давай, блядь, слезай оттуда! — крикнул мне ещё один из наркотов. — Бумаги доставай! — Знаешь его? — спросил кто-то из любителей поглумиться над другими, поспрашивать по-тюремному. — Конечно. Сидел у нас в хате. Маньяк конченный. Доказуха полная, но строит целку из себя, — хитро подмигнув мне, ублюдок распибался на публику.

— Нет, что ты. Такая же мразь! Оба в нашей хате были! — подливает масла Вито. — У меня только постановление об избрании меры пресечения, — сквозь предательски вставший поперёк горла трусливый комочек лепечу я. — Давай, давай сюда, — говорит наркоман. — А я думал, он случайный пассажир, в отличие от того, — Вито кивнул в сторону Серёжи.

Подключается какой-то здоровый азер, и вдвоём они читают моё постановление, где в двух строчках описано, в чём меня обвиняют. Никаких, естественно, доказательств, ничего — просто выписка из задержания, и всё. Но при желании и этого вполне достаточно.

— Вынь руки, хуйло, из карманов! — орёт на меня наркот (впоследствии выяснилось: конченная красная гадина, ломавшая в зоне судьбы). — И вообще, с чего он ещё мужик? — спрашивает азер, намекая: пора бы в петушню меня загнать.

Я прирастаю к полу, и трясучка превращается в полный паралич.

— Что надо-то от него? — спрашивает «по-правильному» Петрович. — Он здесь давно. Вопросов пока к нему нет. Уборку он делает. Каждый день, что ли, качать его делюгу будете? — Слушай, Лёша, скажи им, сколько ты уже здесь? — сзади стоит Петрович. — Три месяца, — еле слышно говорю я.

Перед его авторитетом (Петрович — человек серьезный) азер и наркот затихают. Отдав мне бумаги, отходят. Я залезаю наверх и ложусь. Сердце колотится, но страх уже ушёл.

До конца срока я понимаю: будут подобные сюрпризы, «расследования». Это очень удобный буфер, чтобы отвести внимание от какой-нибудь проблемы или своего поганенького прошлого. Можно обрушиться с праведным гневом на развратника, педофила.

— Б...н, в следственный! — кричат в кормушку.

Опа! Адвокат пришёл. Пару слов об этом явлении. Мама его нашла, и он помогает больше из хорошего отношения к кому-то, чем из жажды справедливости. Маленький, толстенький армянин. Суетливый и кажется бесполезным. Правда, пока он удобен: я забираю у него зажигалки и сигареты, прошу что-то передать и надеюсь на его помощь при допросе на суде. Мне кажется, на суд произведёт больше негативного впечатления, если я буду сам допрашивать и ловить потерпевшую девочку. И лучше будет, если это сделает он.

— Ты будешь признаваться? Пока что он пунктуально сопровождает все следственные действия, удивляя меня и каждый раз оставляя в недоумении. В конце он неизменно задаёт один и тот же вопрос:

Если бы он был «положняковым» — то есть назначенным следствием карманным адвокатом — я бы ещё тогда понял. Но он нанят для соблюдения моих интересов. А при любом раскладе адвокат распоследнего подонка должен защищать позицию своего подзащитного и никак не стараться её изменить.

Меня вызывают на очную ставку. Сначала это бодрит. Кажется, следствие хочет найти правду. Но циничный следователь меня разочаровывает, говоря, что это обычная процедура при различии в показаниях двух сторон.

Я не сплю ночь накануне, придумывая каверзные вопросы, касающиеся нюансов случившегося: времени, вида нападавшего, его действий. Всё это, конечно, детский лепет. Я столкнулся с такой стройной, моментально подстраивающейся под ситуацию машиной, что у меня нет шансов.

Уже нашли свидетеля, задержавшего меня — несмотря на то, что я прекрасно помню, как наотрез отказались парни, схватившие меня, участвовать в этом. Уже подправили показания бабушки, мамы и дочери, чтобы всё было чётко, ясно. Конкретно этот человек сделал конкретно это, конкретно эта бабушка конкретно его видела. Всё! Остальное — лишь сопроводительные документы, необходимые по регламенту данного мероприятия. За раскрытие таких дел — повышение и благодарности всем, начиная со следака, заканчивая начальником отдела полиции. Чуть-чуть бы хитрее мне быть и циничнее...

Бабушка психует и нервничает, разыгрывая, потому что я вижу в её проспиртованном организме чувство вины, придавленной. Мама, как ни странно, более спокойна, равнодушна. Бабка с вызовом отвечает на мои изучающие взгляды, дочка, напротив, отводит и прячет глаза. Мне это кажется хорошим знаком, и я начинаю разрабатывать схему давления именно на неё. Девочку, естественно, не привели — ребёнка в тюрьму, это запрещено. А эти двое, по большому счёту, видели только меня, и уже спустя время после случившегося. Так что, суки, мне с ними что устанавливать? Какую ясность? Ни одна из них не видела в лицо нападавшего.

Бабушка кричит: мол, на меня похожа куртка, по ней она меня и опознаёт. Мама говорит: я от них убежал. Я отвечаю прямо: по моему пути остановка автобуса, к нему и бежал. Ну как всё это складывается в чудесную картину, что именно я напал на их ребёнка, я не понимаю. Если б я понимал логику, мне было бы легче защищаться.

Очная ставка закончена. Меня отводят в хату.

В последнее время всё больше и больше давит на меня новое обвинение, усугубляющее моё положение. Следак перепредъявил сто тридцать пятую, изменив на сто тридцать вторую, часть третью, пункт «а». Это означает, что мой срок может начинаться с восьми лет, а не как по статье сто тридцать пятой — с года, и заканчивается тремя. Мне здесь даже тяжело представить: верхний предел у сто тридцать второй — пятнадцать лет. После всех этих следственных действий, где следак равнодушно хоронит меня, не слушая никаких моих оправданий, и даже адвокат спрашивает, буду ли я сознаваться.

Тяжело, очень тяжело, беспросветно, мутно, мерзко. Словом, все возможные отвратительные эпитеты подходят к описанию моего состояния. Я страшно грязный, мне не отмыться, и почти каждую ночь я или тону, или убегаю, порой рассыпаясь от сжимающего горло рыдания.

Однажды меня разбудил сокамерник рядом, на шконке: мне что-то приснилось, и я захлёбывался от слёз. Оглядываешься: не слышал, не видел ли кто даже во сне этой моей слабости. Слава Богу, ты равнодушно-спокоен на вид, тебя не задевает всё, не интересно.

Прикольно глумиться над растерянным и мятущимся, добывая и раздевая его душу. Кто-то называет эков большими психологами — это не так. Они похожи на сумасшедших, чувствующих слабость и питающихся ею, расковыривая рану. Слишком прямолинейные мозги у этих «психологов». Яркое, резкое понимают, а полутона уже недоступны.

Из-за переездов у меня сложился комплекс страха от хлопающей кормушки или звука, когда она открывается. Пожив пару месяцев в этом муравейнике, где никогда не бывает тихо — в любое время дня и ночи кто-то что-то варит, катает зарики, курит, ходит, — я уже привык к этому. И другие хаты в силу неизвестности происходящего в них кажутся для меня терра инкогнита со страшными допросами: «за что сидишь?», «что, ты любишь маленьких детей?» и так далее, — и непредсказуемыми финалами моего существования, так как мне уже дали понять: я — разменная монета, и никто защищать меня, если кто-то захочет поразмяться или выпустить накопившуюся ненависть, не будет.

Сидящие по этим статьям — самый удобный и на сегодняшний момент единственный узаконенный буфер в тюрьме. Если раньше в авторитете были лишь воры, а остальные делились по чёткой градации отношений к ним... Я не очень осведомлён, но вкратце: убийца всегда в стороне, разбор по факту личности; разбойники держатся также в доле, на коротком поводке, часто выполняя функцию вышибал, торпед, обсуждение дел их не касается. Дальше — все остальные: мошенники, крадуны, грабители и так далее.

Очень-очень плохо относились на заре появления в России повсеместной наркомании к людям, сидевшим по двести двадцать восьмой статье. Коротко и оскорбительно их называли «барыгами» и держали очень далеко, в стороне, не считаясь с ними. При возможности не упускали шанс получить с них, если появлялся кто-то, кого барыга сдал или просто кому продал. То, что получали, шло в общак — понятие размытое, державшееся чётких рамок до первого нечистого на руку смотрящего.

Постепенно, с тем что осуждённых по статье двести двадцать восьмой становилось всё больше и больше — людей закрывали за употребление, пособничество, участие, — отношение потихонечку менялось. Появилась концепция «подстава», и стали барыги и наркоманы мошенниками, а статья двести двадцать восьмая сменила сто пятьдесят восьмую, настав со своим названием — «народная статья».

Отношение к наркоманам изменилось ещё из-за того, что на героин, кокаин, спиды и иже с ними подсели почти все блатные, смотрящие — в общем, все, кто был у дел. А их не принято было критиковать.

Отношение изменилось, чудесный буфер для выплеска ненависти, снятия напряжения, бесконечно накапливающегося в эках, исчез. Что делать? Надо что-то новое. К преступлениям над детьми всегда относились как к мразотным, но, раз отодвинув, больше не касались. Теперь же, благо, две тенденции соединились в одну. В государстве также началась охота за педофи-

лами — и в рамках государства это также превратилось в прекрасный буфер. Надо от чего-то отвлечь — от маленьких пенсий или ещё чего-то — возникает очередной маньяк, изнасиловавший дочь. Вот так и про пенсии забыли.

— Ну что, хуйло, как там трусики у девочки? В цветочек, а? Ты же рассмотрел, стопудово? Чего молчишь, стыдно? А когда за писечку её трогал, не стыдно было? Так вот, тенденции соединились и чудесно теперь живут в хате. Чуть какое-то недовольство — жена бросила или передача задерживается, — подходишь к такому персонажу, как я:

— А попка у неё? Маленькая такая, на ладошку помещается. Пытка-допрос может продолжаться долго, в зависимости от концентрации накопившегося говна:

Смеётся. Барак хохочет. Мне начинает казаться, они сами поддрачивают на этот сюжет. Молчишь, как правило, ничего не отвечаешь. Или если даёшь отпор — в высшей степени интеллигентно, ну, так, чтобы докопаться, мол, «оскорбил», было не к чему.

В хате события. Решили скинуться на телефон. Договорились с продольным, что за три тысячи приволочет трубку. Две тысячи наскребли, нужна была ещё одна. Единственным имеющим возможность добить был Серёжа. К нему никто не обращался, обходили стороной. Сам предложил, и, естественно, согласились — с паршивой овцы...

С грехом пополам затянули эту злосчастную трубку, психуя от вывертов и заморочек целый день, и стали звонить. В хате была ещё одна трубка, но ей пользовался ограниченный круг лиц, поэтому нужен был дополнительный канал. Я сразу обратил внимание, что Серёжа очень редко берёт эту общую, взятую на его же деньги трубку, и подолгу зависает под одеялом, спрятавшись. Не в моих правилах было заострять на этом внимание, каким бы говном он ни был.

Очень быстро обнаружилось наличие у Серёжи ещё одного телефона: якобы принёс ему адвокат. Я больше склонялся к тому, что это телефон от оперов, так как Серёжу постоянно куда-то выдёргивали. Отобрали трубку, кинули её на общее. С точки зрения «осадить Серёжу» я был согласен, но по всем тюремным, человеческим понятиям это, конечно, был беспредел — тем более что он скидывался на общее.

Таков пример постоянных исключений и правил из свода законов тюремной этики, полностью проецирующих жизнь общества и государства.

Есть у нас незыблемые правила, веками существующие, предками нашими выстраданные, кровью и страданиями их отмытые, но всегда, всегда, сука, находится неудобная ситуация, когда никак нельзя по закону, по правилам, по понятиям, и приходится всё менять. Баланс тогда невидимый будет нарушен, зло восторжествует. А ведь зло-то правилам не следует. Так что же нам делать? Зло ведь думает — мы правильные такие, всё по букве делаем, и лупит, бьёт по нашим больным местам.

А мы тут как развернёмся! Как развернёмся на сто восемьдесят! И сделаем исключение: отменим на время мораторий на смертную казнь и накажем всё зло, а потом всё как бы обратно, всё в соответствии с правами человека. Дальше всё по букве: ты же не человек, поэтому никаких прав у тебя быть не может. Так и жили — выкручивались, на слабых создавали своё благополучие. И здесь...

Героиновая движуха достигла небывалых размеров. Чувствовалось: долго продолжаться это не может. Настал момент. Двери распахнулись и, без полдня на сборы, корпусной назвал несколько фамилий, сказал сразу собираться.

Первой партии не повезло. Они уехали без телефона, в полном обломе. С утра они скидывались на планируемую акцию — пять граммов. Мучаясь и сгорая от беспомощности, они судорожно и молча собирали вещи, ведь при каждом новом корпусном все предыдущие переговоры аннулировались и приходилось прибалтывать сначала.

Я попал во вторую партию с Витей, где очутились двое счастливиц из разрушенной компании торчков. Один был счастлив, потому что конкурентов стало меньше, второй радо-

вался тому, что передача попадёт именно ему. Его девушка принимала непосредственное участие — везла и передавала.

Нас повели на соседнюю галёру. Самый конец. Сто одиннадцатая. Пятнадцать мест, с широким центряком, двумя решками и удобным глазком в двери для наблюдения за обеими сторонами коридора. Мы вчетвером были первыми. Потом появилась ещё партия из трёх человек и ещё парочка одиночек. Последним зашёл расписной, обрюзгший, мерзкий тип лет пятидесяти, по бесцветным глазам и влажным красным губам которого чётко прослеживался цинизм и сладострастие. Ни перед чем гадина не остановится, с таким веди себя потише. Ну и зажили в новой хате, отстучавшись и ознакомившись с соседями.

Благополучно кинув коллег по несчастью, счастливчик Лёха собрал себе весь полученный героин и проторчал его, вскоре благополучно куда-то уехал, потому что его шконка приглянулась Сироте. Так звали пожилого, неприятного типа. Особенно не скрываясь, Сирота посещал опера, сливал неугодных, звонил. Думаю, по своим делам — в хате была трубка, но не думаю, что все его замуты оперы могли осветить.

Я был периодически на глазах, потому что в хате то торчали, то тянули героин, гнали самогон. Как-то мы перегнали особенно много, так что хватило всей хате нажраться, передраться и ещё раз подраться. Чудо — не спалили на проверке, но с тех пор гнали меньшими дозами.

Телефон нашёл Сирота и большую часть времени проводил в бестолковых разговорах с кучей случайно найденных девушек. Вообще, поиск подруг в тюрьме — один из движков нашего существования. Со стороны лихорадочные попытки с головой, душой погружённого в это человека... Кажется, что это буквально помешанный, как на наркотиках, в своей привязанности к женщине. Но на самом деле это тщетные попытки заполнить пустоту и поднять собственную значимость. Одновременно примешиваются корыстные побуждения: мало ли, посылочку пришлёт. Несмотря на общественное мнение о лживых манипуляторах, есть девушки, ищущие этот непонятный экстрим.

— Что ты, маленькая! Так и Сирота — пожилой, обрюзгший, беззубый, циничный урод — поймал однажды своё счастье в виде двадцатипятилетней Лены, ошибшейся номером. Словно Красная Шапочка, она задавала ему вопросы: — У тебя такой голос, словно у тебя нет зубов и тебе лет пятьдесят, — наивно спрашивала Леночка с явным желанием, чтобы её развели.

В запасе у Сироты специально для недалёких и истосковавшихся по нежности девушек была целая библиотека словечек с уменьшительно-ласкательными суффиксами и нежно-пошлыми окончаниями.

— Леночка, девочка, я простужен просто, — тараторил он своим поганым старческим голосом. — Здесь, чудо моё, такие сквозняки страшные, я просто умираю.

Леночка глушила голос разума и верила в тридцатилетнего красавца-спортсмена, по ошибке попавшего в тюрьму. В конце концов Сирота уговорил её приехать на стройку, располагавшуюся ровно напротив тюрьмы и видную с нашей решки. Напротив наших окон располагалась старая заброшенная стройка, куда периодически приезжали жёны зэков, перекрикиваясь с окон со своими мужьями и парнями, отвечавшими им из-за решётки.

Настало утро дня, когда Лена обещала появиться. Сирота с утра носился с телефоном по хате, без конца заваривал чай и созванивался, созванивался со своей избранницей. Вот наконец. На стройке, в четвёртом окне справа на третьем этаже, появилась черноволосая молодая девушка, одетая в длинное коричневое пальто — вполне себе респектабельная. Сирота липнет с телефоном к решке, течёт слюна, его трясёт.

— Лена, Леночка! — чуть не кончая, лепечет он. — Какая ты красивая, я восхищён, сражён! Ты такая, Леночка... Как жаль, что ты так далеко, я не могу тебя обнять, приласкать. Леночка, ты такая умница, что приехала. Я так рад, Леночка!

Щебечет, более слушать противно. Леночка что-то отвечает, нервничает, тербит пуговицу на пальто. Ей неудобно стоять, словно на сцене, в этом окне. Но Сирота — профессионал в мелком манипуляторстве. Леночка не отпускает трубки — затягивается, затягивается удавка.

— Леночка, сказочная моя... Я понимаю, что это неудобно, но умоляю: покажи мне ножки свои прекрасные.

— Это так, для завершённого впечатления, я же не вижу сквозь преграды. Ответ смущённой Леночки: — Ну что ты, что ты...

— Прошу тебя, милая. Я так давно этого не видел. Сердце аж заболело. Здесь тоска, рожи одни и те же — невозможно просто. Солнышко ты моё, ну чуть-чуть хоть обозначь коленочки. Усну в мечтах, до конца эту фотографию перед глазами оставляю.

Леночка сломана. Расстёгивает пуговицы на пальто. Она в длинной чёрной юбке. Распахнув полы, приподнимает до колен юбочку. Сирота почти в экстазе, мы веселимся и ждём продолжения.

— Ах, что за ножки у тебя! Зайчик ты мой стройный и красивый, чуть повыше подними, милая, юбочку...

Уже понесло Сироту. Дальше даже издалека мы видим — девушка мотает головой.

— Ну хорошо, хорошо, лапочка моя. Расскажи мне, что сейчас делать будешь. Ага, ага, с девочками? Только с мальчиками там, зайка, осторожнее. Они ведь такие хитрые. И всем от тебя только одно, ласточка моя, надо. Нет, нет, что ты, я совсем не такой... Ха-ха, шутница ты, Леночка.

В общем, ещё двадцать минут Сирота мурыжит бедную девочку на грязной стройке, где периодически появляются дочки, высматривающие одиноких посетительниц и демонстрирующие удивлённым жёнам эков свои прелести. Наконец Леночка срывается с крючка и уезжает. На собственной тачке — это мы поняли по показанным ключам.

В течение дня Сирота поёт в эйфории Леночке, окучивая её, так как всё-таки цель знакомства — материальная помощь. Ближе к вечеру отдаёт телефон, поняв, что избранница уже бухая и ей неинтересно любить по телефону. Мы тихо шушукаемся и ржём над любовником.

Суд. Каждая поездка для меня — мучение. Сбор на галёре утром. Из хаты выводят судейских. Они вглядываются в соседей в поисках... впрочем, в поисках чего угодно: от гревов неожиданного земляка, до опознания скрывающейся суки.

Меня трясёт уже в шесть утра. Я еле-еле успеваю нормально посрать, у меня расстройство от страха. Чай. Трясаясь выбежал из хаты. Чувствую на себе изучающие, вспоминающие взгляды находящихся на галёре. Конечно, почти никто из них не знает, почему я так нервничаю. Иначе бы повод поразмяться и чморить был бы, безусловно.

Хаты открываются по очереди, выплёвывая эков. «Так, пронесло, этого я не знаю...» Дальше. Перекошенная, спившаяся физиономия — такой мне не опасен. Следующий. Мент проходит мимо, просматривая карточки в руке, на них наши данные: фото, номер хаты. Ещё пару человек — всё. Временная передышка.

В «стакане» можно не напрягаться. Уже понял - никого не знаю. Не будет лишних вопросов. Хата моя кажется теперь мне несгораемым сейфом, где я в подлинной безопасности. Сейчас же я — словно подопытный кролик, не знающий ни места, ни исполнителей, ни цели грозящего, ни неизбежного препарирования. Теплится надежда: можно избежать этого, надо лишь хорошо прятаться. Я закрываю глаза, прикидываюсь спящим, делаю каменное, неприступное лицо: «не подходи, убью».

В «стакане» мало времени, особенно никто ничего не выясняет. Знакомые общаются, незнакомые пробивают. Наконец, со всех галёр собраны все судейские, и нас спускают вниз. Это огромный коридор, где я уже был по приезду. По очереди подзывают к будке, где сидит мент с нашими делами, и, сверив личность, направляют по «собачникам». Туда, куда направили меня, забились десять человек, и за десятым дверь закрылась.

Почти через равные небольшие промежутки я напрягаю всё тело, стараюсь не показывать скованность на лице. Так я пытаюсь избавиться от нервной трясучки. Она страшная — если кто пристально посмотрит, моментально спалит. Ну а если спалит — смотря на кого попадёшься, может такой полосатый подъехать, заебуть оправдываться. Прячу руки назад, до боли ломаю пальцы. Чуть отпускает и... снова.

Я не слышу, не вижу происходящего вокруг. Да, ничего нового и не услышишь: «Где сидел?», «Слышал, на Яблонежке!», «А в двухтысячных в Форносово...», «Коля сидит, что ли?». Вот и всё. Я забиваюсь за спины и в уголке стою с закрытыми глазами.

Долгие два часа до проверки – это девять. Затем — до двух – пяти. Но можно и совсем вечером уехать. Ждём конвоя в абсолютно бескислородном пространстве.

Выдали сухпайк, куда входит суп, вызывающий изжогу, две каши, сахар, чай и галеты. Маленькие печенюшки со вкусом солдатских грязных носков — самое популярное лакомство из всего перечня. Забираем тридцать граммов сахара, беспонтовый чай, два пакета по два грамма, пластиковые стаканчики, которые пригодятся в хате, и галеты. Остальное — в мусорник. Страшный сушняк, язык еле ворочается, но всё равно достаю и рассасываю галету: у меня есть дело, я занят.

Постепенно выводят народ. В камере всё меньше и меньше судейских. Остались трое флегматиков, вообще не интересующихся происходящим, полностью погружённых в своё. Я успокоился и смог погулять по камере, размяться. Болят ноги от постоянного стояния.

И вдруг всё-таки... Стоит только начать маячить...

- И... — классика?

Вопрос адресован без сомнения мне. Его инициатор — молодой, крепкий кавказец. Мне сложно с налёта понять, чего он хочет. Но логическая цепочка выстроилась кое-как: что может хотеть от меня незнакомый молодой, крепкий кавказец? По всей видимости, он спортсмен. Увидел у меня сломанное ухо, решил, что я борец. Предположил, что классической борьбой занимался. Мотаю головой.

— Здесь, в Питере, на Зимнем стадионе. В девяностых, — уверенно вру я, понимая, что в девяностых он ещё ссал под себя. — Нет, вольник. — Давно уже? А где занимался?

-А!.. - понимающе кивает. Диалог закончен. Зачем ему была эта информация? Стараюсь не показывать, но психую. Вполне возможен следующий вопрос: «За что закрыли, братан?». Но он ушёл в себя, и я ему не интересен. Да и слава Богу. Не трогайте меня, прошу вас!

— На выход.— Б...н! — вырвал меня из морока мент. — Да.

Глава 8

— На выход.

Собирают Смольнинский суд. Выхожу на галёру в новом приступе дикой трясучки: могу увидеть кого-нибудь знакомого. Надоело страшно. Выдохнул. Никого не знаю. Как правило, эки в большинстве своём не в состоянии оставаться наедине со своими мыслями. Им постоянно надо молотить языком, включать радио, в тишине засыпать с музыкой. И то что они доёбываются к тебе не всегда от любопытства. Не справляются с ёбанным шумом в голове.

Сели в автозак. Проезжаем первые ворота, они закрываются за нами, конвойные ходят по очереди к будке за оружием, которое сдавали при входе. Возвращаются в машину, открываются вторые ворота... И!.. Не передать моих ощущений, когда в щёлочку я вижу солнечную улицу, стоящую на тротуаре девушку в короткой юбке, деревья по краю дороги, длинные дворы, вдалеке — скрывающихся, занятых своими будничными делами людей.

Проехав по двум перекрёсткам, выезжаем на Литейный мост. Солнце высоко. Мне видна спокойная, позолоченная Нева, кованный парапет, пешеходы, равнодушно смотрящие на это чудо - летний Питер, набережная, дома и катера. Щемит в груди. Тяжело дышать. Какой же я дурак! Лень, безответственность материализовались... Грызу себя.

Медленно едем по Литейному. Никто не обращает внимания на автозак — мало ли больших фургонов с надписями. Мне кажется, если бы люди знали, что мимо едут убийцы, воры, развратники, то стояли бы, разинув рот, пытаясь разглядеть что-нибудь в машине.

Людам же так нравится наблюдать чужие экскременты! Как выражаются, проявляются пороки и какое за каждый из них следует наказание. Стоит, блядь, и примеряет на себя. «Ведь есть во мне эта чёрточка, гниль эта. Но никто никогда не узнает об этом. Никогда. Ах, как сладко было бы хоть раз попробовать! Но только гарантированно без наказания, чтоб не ловили, чтоб жизнь не менялась, просто сделать один маленький шажочек в сторону. Забрать лежащий кошелек, подтолкнуть под поезд ненавистного соперника, что-нибудь сладостно-запретное сексуальное совершить... Ох, какой приход — только подумал, намokли руки, испарина на лбу. Ну, слава Богу, не я там еду. Не я.»

Это очень забавно проявляется в бесконечном тюремном общежитии, где двадцать четыре часа ты под вольным или невольным присмотром таких же хищников. И вот наступает ночь, и, конечно, не всегда, но часто раскрываются тайны, страхи, фобии.

— Не трогай, отойди! — кричит во сне человек, весь день строивший из себя настоящего мужика без страха и упрёка.

Литейный. Налево, с Захарьевской через Кирочную выезжаем на Суворовский. У меня маленький, предательский комок подползает к горлу: до моего дома две минуты идти. Автозак сокращает это расстояние и ровно на моём углу — поворачивает налево. Суд. Несколько манёвров, и аккуратно подъезжаем строго к двери перед аркой, пройдя которую попадём через служебное помещение в цитадель закона.

По очереди: первый, второй — выпрыгиваем из машины. С двух сторон от лестницы стоят менты, и также чуть дальше за кабиной, и в хвосте. Быстро по арке в коридор, через несколько метров слева — комната с камерами, которые просматривает дежурный. Не успеваю рассмотреть, где они висят, и не понимаю, зачем хочется узнать — видно ли меня на экране по камерам дежурки.

Собрали всех в предбаннике, стали шмонать. Привезти при желании можно что угодно, обыскивают так, понты. Только если у меня прямо лежит открыто в кармане мойка — найдут её. Рассаживают по камерам, руководствуясь какими-то своими хитрыми соображениями.

Попадаю с молодыми, нервными парнями и понимаю — первоходы. Они ещё не натасканы на лагерные «красные тряпки», не расчеловечивают сокамерников, а целиком заняты

своими делами. Это уже матёрые персонажи, лишь видя ущербного или изгоя, стараются выделиться, самоутвердиться перед другими на его фоне. Чем больше он сидит, тем меньше у него остаётся, чаще всего, чего-то своего, личного, индивидуального. И тут выход только один — унижать, увеличиваясь за чужой счёт.

Но сегодня я, слава Богу, лишён подобных людей, и несколько часов мы по очереди будем подниматься в зал и сюда. Я смогу отдохнуть от утреннего стресса. Кроме этого, один парень оказывается родительским сынком, и у него с собой кофе, чай, курево, конфеты.

Попросив вежливо кипятка, мы завариваем кофе — я, как самый опытный из них, веду переговоры по поводу кипятка. Ментов же тоже надо уговорить по поводу выхода в туалет. Сидим, рассказываем друг другу про волю, про девочек. У ребят ещё всё очень свежо, их недавно закрыли. Они до конца не верят, что лишены всего этого надолго. У них надежды: их оправдают, мама с папой помогут, адвокат разрулит.

Я слушаю их обвинения — у одного особо тяжкие побои, повлекшие смерть, сто одиннадцатая, часть четвёртая, у второго разбой, сто шестьдесят вторая, часть четвёртая, — и представляю, каким страшным обухом ударит их по неготовой голове приговор: десять лет строгого режима. Но ничего не говорю, незачем. Пока сами всю эту беспредельную систему не пройдут — не поймут.

У меня уже третье заседание: вызов, допрос свидетелей, потерпевшей. Я тоже в своей иллюзии. Жду, чего? Что что-то прояснится при ответах на мои каверзные вопросы, которые я готовил давно.

Вот поднимают богатенького сынка. Час. Два.

Приходят конвойные за его вещами. Сокамерник только укрепляется в своей вере в чудо. А я лишь тихо завидую богатым деткам, решающим до сих пор любые вопросы за деньги своих родителей. И никакого отношения к объективности, к справедливости этого суда это не имеет.

И зря ты, дружище, так скачешь: «сейчас и меня отпустят». По твоим джинсам и кроссовкам понятно — нет у тебя ничего, и будешь ты сидеть, дорогой, за себя и за того парня.

Для меня же эта счастливая развязка — повод немножко понадеяться на изменения в своей ситуации. Логика такая: даже если в этом суде возможны такие чудеса, то почему бы и со мной им не произойти?

— Б...н! На выход.

Словно холодным душем окатило, но не протрезвел — это точно. Мутная, тяжёлая голова от спёртого воздуха насквозь прокуренного помещения. Сейчас что-то решится. Что конкретно — не знаю.

Поднимаемся по лестнице на третий этаж. Здесь нет посторонних, все выходы на кодовых замках. Руки, закованные в наручники, за спиной. Впереди конвойный и сзади. Они, без сомнения, знают, кого и в чём они ведут — я чувствую из-за гипертрофированной мнительности их ненависть и презрение. Хрен с ними, переживём.

Открывается дверь, проходим в коридор к судейскому залу. Рядом с ним на скамейках сидит вся семейка: бабушка, мама, девочка и какой-то мужик. Бабушка делает максимально презрительное лицо, мама скорее изучает, ребёнок просто скользит по мне взглядом, и я понимаю — она не соотносит меня с тем, кто тогда напал на неё, несмотря на уговоры следователя и матери. Ребёнок не врёт, и глаза её равнодушно переходят на окно. Мужик почему-то старательно на меня не смотрит — видимо, вынужденная группа поддержки.

Меня заводят в зал, начинается заседание. Сначала допрашивают меня, предварительно поинтересовавшись, когда я хочу давать показания. Проанализировав ситуацию... Ведь соблазн дать показания после всех услышанных и скорректировать своё очень велик, я всё же решаю говорить в самом начале.

Я даю понять: меня не интересует их позиция, так как моя позиция верная и не нуждается в коррективах. Рассказываю всё почти слово в слово с показаниями.

Судья лежит на своей левой руке, красивыми, тёмными, чёрными глазами наблюдая за мной. Поза совсем не судейская, и меня почему-то вдохновляет, что она так расслаблена. Оправдывает свою фамилию — Котикова.

Я закончил. Адвокат чиркает и что-то записывает. Не было бы решётки, за которой я сижу, я подошёл бы и вlepил бы ему затрещину. Сто процентов уверен — там ни хрена по делу, просто для вида рисует что-то.

Вызвали свидетеля. Почему-то из тех двоих, кто меня задерживал, пришёл один. Я плохо помню их лица, да и мать с бабушкой уверены, что это реальные свидетели, но те были брюнеты, а этот — блондин. Хрень какая-то.

— Через соседей случайно, — отвечает. Задаю вопрос: — Ты же не собирался идти давать показания? — Передумал, — говорит. — Мама девочки меня нашла. — Как? — спрашиваю, чувствуя уже, что какая-то хрень.

Я ничего не могу поделать — его показания приняты, две женщины подтверждают. Ну надо, надо было настаивать и выдёргивать ещё одного соседа, который якобы его нашёл. Подставная тварь была. Даже мой дядя у адвоката, узнав его адрес, говорил мне потом, что он липовый. Когда же я пытаюсь его подловить на несоответствиях, чтобы стало ясно, что я не от них убежал, он барабанит как по написанному — не волнуясь, не запинаясь. Это теперь я вижу абсолютно точно: это молодой опер из соседнего района.

— Как вы сейчас, позже, можете помнить, что полгода назад по этой дороге не ехал какой-то автобус, да ещё в каком-то конкретном направлении? — задаю вопрос после разрешения судьи.

— У меня память хорошая, — не моргнув глазом отвечает свидетель. — Просто оглянулся, посмотрел, осмотрелся и обратил внимание, запомнил случайно. Ты бежал от них, а не за автобусом.

— А как, откуда вы вообще знаете, как ехал или должен был ехать автобус? Навстречу мне или из-за спины? — судорожно ловлю его я.

— Да не было там никаких автобусов, — так же спокойно отвечает свидетель.

— Я протестую! — вдруг раздражается адвокат. — Я уверен, невозможно спустя полгода помнить, что там ездило и что там не ездило. Вы, когда шли в суд, видели автобус рядом со зданием суда?

— Не обратил внимания, — флегматично ответил свидетель.

— Так как вы можете помнить, были автобусы полгода назад на этой улице или нет?!

Судья решает вмешаться:

— С автобусом понятно. Есть ещё вопросы к свидетелю?

Я задаю ещё пару незначительных вопросов, и допрос свидетеля закончен.

В голове у меня сумбурные мысли, собрать их воедино не получается. Ответы блондина меня подкосили.

Далее — мама девочки. Она рассказывает всё то же самое, утверждённое, видимо, на встрече следователя с подставными свидетелями. Насчёт автобуса она не так уверена. Это меня приободряет — значит, не все мелочи обговорены. Хотя, по большому счёту, это мелочь, на которую в суде не обращают внимания. У меня, как у подсудимого, каждое несоответствие вырастает до масштаба максимы, неоспоримого факта, доказательства моей невиновности. А для неё это всего лишь ошибка по забывчивости, присущая каждому человеку. Мама садится, отвечает на мои малозначительные вопросы.

Мой адвокат перебирает бумаги, трясёт щёчками, демонстрирует глубокое проникновение в дело. Пока ни одного вопроса — лишь холодный, молчаливый, пристальный анализ. Ему, наверно, кажется, что у меня складывается в голове воображаемая картина: он копит информацию и, поднявшись, расставит все точки над «и», развенчает всю ложь. Жаль, но он конченный придурок, если так думает. Я вижу прекрасно, что он растерян, непрофессионален и

боится прокуратуры, страшно желающей меня расчленить. Моё самое большое желание — по здешним критериям возмездия настучать ему вставшей шишкой по лицу.

И так, бабушка. Экспрессивна, периодически кидает на меня взгляды, полные ненависти. Как настоящий театрал, я вижу наигранность — она переигрывает, не так уж и велика ненависть. Она повторяет свои показания, данные на предварительном следствии. Я не выдерживаю её клоунады и взрываюсь:

— Да вы понимаете, что своими предположениями сажаете меня лет на пятнадцать?!

— Надо было раньше думать, — повернувшись ко мне, злобствует бабушка. Судья стучит по столу: — Предупреждаю вас, обвиняемый, недопустимо давление на свидетеля.

Но я вижу толику замешательства. Они даже не представляли, как может повернуться дело и насколько они сажают человека. Почему-то это вселяет в меня невнятную надежду. Бабушкино выступление закончилось.

Дальше — самая для меня трудная часть: допрос девочки. Я изначально отказался от вопросов к ней, чтобы не нервировать ребёнка, и попросил заняться этим адвоката. Но, судя по предыдущим выступлениям и его малозначительным, для галочки, вопросам, я предчувствую провал.

Выводят ребёнка. По правилам допроса несовершеннолетнего её лишь просят говорить правду, а не заставляют расписываться за возможную ответственность за дачу ложных показаний. Девочка кивает и кажется абсолютно спокойной. Рядом встаёт её мать, держа её за руку.

— Где-то рублей восемьдесят, — уверенно вспоминает девочка. — Расскажи нам, девочка, что ты помнишь из событий того дня? — ласково спрашивает её судья. — Мне бабушка дала денег купить мороженое, — начала девочка. — Ты помнишь, сколько она тебе дала? — аккуратно перебивает её судья.

Я прекрасно понимаю, что делает судья.

Своими вопросами создаёт фактически костяк того дня, чтобы иметь возможность по этим фактам составить общую картину и понять, кто абсолютно естественен, а кто преувеличивает, преуменьшает, выдумывает.

— Да. Он вошёл за мной в парадную. Потом... Потом он схватил меня за плечи и провёл рукой у меня между ног. Я закричала. Он сначала закрыл мне рот. Потом отпустил и убежал. — Я вышла в магазин. — Как ты пошла? — Через арку справа, вокруг дома. Купила мороженое, положила в пакет и пошла домой. — В магазине ты видела мужчину, который на тебя напал потом? — Нет, в магазине его не было. Он стоял в арке у двора. — Проходя мимо, ты ничего не заметила? — Нет, он посмотрел на меня и пошёл за мной. — А ты? — Подошла к парадной, открыла дверь. — Мужчина шёл за тобой?

Мать твою! Что вытащить-то из этого? Вся надежда на адвоката.

— Скажи, Алёна, как тебе помогали следователь опознать того мужчину? — начинает, блядь, вкручивать он. — Пожалуйста, — разрешает судья.

Я холодею. Нельзя же так в лоб! Он придурок или его завербовали? Ведь я тебе, этому дятлу, как козырь рассказал!

— Без наводящих вопросов, пожалуйста, защитник. Судья стучит по столу:

— Скажи, Алёна... Тебе как-нибудь помогали мама и следователь опознать мужчину, который на тебя напал? Руками, словами, жестами? Армянин кивает:

Мама-тварь жмёт девочке руку, заставляя, по всей видимости, её говорить, что запланировано. Девочка краснеет, теряется, мямлит.

— Что это были за жесты, скажи? — Руками, жестами, — повторяет она.

Ребёнок жмётся и теряется.

— Но я вообще-то пол-лица его видела... — чуть не плача, говорит чуть слышно девочка.

— Ребёнок устал, прошу прекратить допрос. Включается прокурор:

Судья пожимает плечами, смотрит вопросительно на мать, та тоже кивает.

— Хорошо, допрос ребёнка закончен.

Суки, пидоры грёбанные! Видят, что всё разваливается.

Ещё немного времени — стало бы совсем понятно: девочка не помнит нападавшего, а меня опознала по указке. Но, в принципе, и так достаточно её слов: «я видела только пол-лица». Главное — не забыть запросить протокол судебного заседания.

Продолжается заседание. Главное — не предаваться эйфории и остальных, остальных внимательно слушать.

Приглашают эксперта по несовершеннолетним. Это замызганный, средних лет Чикатило со вспотевшими подмышками и в средневековых очках. Он рассказывает, что девочка адекватная, немножко заторможенная, но в целом понимает логику событий, в состоянии художественно причинно-следственные связи кое-какие понять, нормальный, в принципе, ребёнок.

Чёрт, и тут в его речи звучит её детский диагноз, поставленный в раннем возрасте: перинатальная энцефалопатия. Я совершенно забыл выяснить, что это. Записываю первую заметку себе в блокнот.

И смех и грех: за весь процесс это первая заметка. Эксперт продолжает тарабанить заученные шаблонные формулировки. У следаков в каждом районе есть такой центр, где есть наготове дежурные психологи, воспитатели, дающие необходимые для следствия характеристики. Недоразвитость они умело превращают в наивность, плохую успеваемость — в следствие родительской опеки, сложность с усвоением конкретных дисциплин — в определённую структуру личности. В общем, всё делается для того, чтобы максимально противопоставить взрослого подонка и невинного ребёнка.

Ни слова о детской внушаемости, ни слова о лёгкости манипуляции с детскими нравственными оценками — если, конечно, не идёт речь, что преступник воспользовался детской доверчивостью. Вывод этой амёбы: ребёнок не понимал, что с ним хотят сделать (специальное усугубление вины получается — лицо, находящееся в беспомощном состоянии), но чувствовал: это нехорошо, плохо, и ей было очень страшно.

Психолог садится. Дополняет мой психологический портрет судья, прочтя результаты судебно-психиатрической экспертизы, проведённой со мной в тюрьме. Вывод прямой: мог осознавать преступный характер своих действий, вменяем, психических заболеваний не выявлено.

Судебное заседание будет продолжено через две недели. Заслушается ещё один свидетель — продавщица магазина, где я, по моим словам, выйдя из машины, покупал бутылку пива.

Спустили в «собачник». Эта перемена очень контрастная.словно из мира воли ты попал в ад. Такое чувство внушал этот замызганный подвал с его страшной, грязной шубой на стенах. Тяжело сидеть эти бесконечные часы — отправка в тюрьму зависела от того, как приедет к нашему суду автозак, собирающий отстрелявшихся судейских. Только и увидишь свободных, ярких людей, улицу Моисеенко из окна... Ведь я в деталях знаю трещины дома, расположенного перед судом, так как внизу остановка трамвая, и в ожидании транспорта в институт или потом в театр на Литейном я разглядывал от нечего делать фасад — и вновь обратно.

Безысходно, на долгий срок, без вариантов. Обратно в тюрьму. Шесть вечера. От дыма, спёртого воздуха, недостатка чифира и голода раскалывается голова. А опустошение полное. Грызёшь себя: почему такие вопросы задавал, как в голову не пришло в какой-то момент обратить внимание судьи на то или иное? Потому как всё быстро происходит. Велика концентрация каждой важной информации в сжатый период времени, и мне кажется — судья многое упускает из виду, и картина получается однобокой, естественно — обвинительной. Кусаю локти, но ничего уже не поделаешь.

Единственное, что меня греет: я приеду, напишу ходатайство на ознакомление с протоколом судебного заседания. По УПК это надо сделать за три дня, и там будут показания девочки, её слова: «я вообще видела пол-лица».

Загребели ключи, заедем. По очереди нас уводят в коридор, цепляют по парам в наручники, закреплённые на общей проволоке. Свободную руку с пакетом — за спину, и аккуратно, согласованно с соседом. Я набрал кучу галет из наборов, выдающихся для питания. Это квадратные сухие, без соли и сахара печенье, названные эками «бабушкиными стельками». Несмотря на это, в силу нашего скудного рациона «стельки» пользуются большим спросом. Их не берут, забирая из набора лишь сахар, в сухом пайке не нуждающиеся или брезгливые. Я не принадлежу ни к одной из этих социальных групп. И это предательски шуршит мой разбухший пакет.

Я же представляю, как пойдут печенки со сладким чаем.

Вечер. Мы разворачиваемся по диагонали к моему дому. Я вижу угол дома, пустующий кинотеатр «Спартак» — в детстве таинственная дверца в волшебную темноту, взрывающуюся сказкой изображения и огромным звуком. Теперь же это пустое, безжизненное помещение, выскобленное, очищенное для новых арендаторов.

Так и я — пуст и выпотрошен, с одной единственной эмоцией: чувством, пожирающим всё изнутри, страшной тоски, тянущей все внутренности и пускающей бесконечный хоровод одной и той же мысли — о вине, о грехах, о потерянном времени, о никчёмности.

Я больше чем уверен, большая часть моих соседей в похожем состоянии. Ведь каждая поездка в суд — это маленькая или большая надежда на какое-то изменение в жизни. Вдруг появится таинственный свидетель, заявляющий о твоём алиби? Или судья разглядит эти бросающиеся даже неискущённому глазу противоречия и мужественно пойдёт в открытую конфронтацию с обвинением — и оправдает, или хотя бы переквалифицирует, к примеру, со сто smoke шестьдесят второй статьи, разбой, на сто шестьдесят первую, грабёж, что по факту там и было.

В большинстве таких сто шестьдесят вторых стоят показания потерпевшего: «Мне показалось, у него в руках блеснул нож, и я реально испугался за свою жизнь». На самом деле у нападавшего в руках была серебряная цепочка, которую он, по полученной привычке в местах лишения свободы, постоянно перебирает как чётки.

Но ничего не происходит. Бедняга не знает, что в кулуарах суда его судьба уже задолго до окончания процесса решена, расписана, и ничего неожиданного произойти не может. Прошу прощения, возможен ещё один вариант: закинуть через оперов в изолятор его, в хате, и крутануть ещё на эпизоды.

Слава Богу, лишние делюги меня не беспокоят, но всё равно не даёт покоя даже появление у меня следователя из другого района. Как-то весной ещё появилась милая Лидочка. Опутала меня милой мордашкой и искусственным интересом к моей судьбе. Взяла образцы моей слюны для сравнения со своим каким-то маньяком. Пока никто не приходил.

— Ничего, подожди. Сейчас тебя осудят, и всплывёт ещё один эпизод. В суде — сложение преступлений, и пиздец. Но сокамерники, отличающиеся особой язвительностью, издеваясь, говорят:

Конечно, я в уме, не слушаю синего, беззубого, усохшего наркота, но в мозг залезает сраный червяк и точит, и точит в проснувшееся, свободное от других мыслей время.

Ведь эти действия без постановления, подписанного прокурором, и без моего адвоката не несут никакой юридической силы. То есть — незаконны. Но есть факт: взят образец моей слюны, и где-то он находится, и чем-то интересным служит, что неизвестно. Но такое количество страха не помещается в моей усталой, переполненной душе, я забываю об этом.

Прибыли. Ещё один поворот. Ну, мать твою! Сначала мы едем в «Кресты». Это значит — в хату я попаду часов в восемь. Почти весь день без горячей еды, сухие супы и каши, выдающиеся в наборах, есть невозможно. Сводит желудок, болит голова, во рту от переизбытка осадка и от кулева сухо и противно.

— «Кресты» — налево, остальные...Вновь двойной кордон при въезде. Открываются двери, и говорят выходить всем:

Здесь более просторный двор. Шастает туда-сюда важно озабоченная обслуга. Мы ждём, когда переиграют транспорт.

Наконец нам показывают на другой автозак, и мы отправляемся на Лебедевку. Вот и знакомые выбоины перед подъездом. Приподнимаюсь над скамейкой на руках, чтобы не отбить задницу — словно специально сплошные выбоины, ухабы, ямы. Не понимаю, самим ментам не задолбало каждый день прыгать на этом участке?

Всё, заехали. Спустились, сверились по делам и рассеялись по «собачникам». Ждём, когда поднимут в хату.

Несмотря на то что нынешним коллективом мы уже довольно давно — три недели, — не все знают, за что я сижу. Когда проходят будни, я не очень волнуюсь: кому придёт в голову выяснять? Этим занимаются, как правило, провокаторы или просто обиженные жизнью. У нас из таких выbleдков один Сирота, и пока я в его поле зрения не попадал.

Сегодня же, приехав с суда, волей-неволей я становлюсь центром внимания. Всё-таки события: видел других, слышал что-то.

И очень возможно, что поднимется вопрос: «А что у тебя с делюгой?». Меня начинает колотить, и в хату меня заводят во взвинченном состоянии: руки влажные, мурашки, мерзко, страшно.

— Видел кого-нибудь? Что говорят?— Ну что, как съездил? — спрашивает Виноград, молодой бандит из Купчино. Хата вроде за ним, он решает вопросы. — Да у меня начало самое, ещё несколько раз придётся мотаться, — делая невозмутимый вид, отвечаю я.

Стараясь соблюдать правдоподобие, я пересказываю все слышанные за этот день разговоры в «собачниках», так как в этой поездке я сам не помню ничего.

— В Обухово закрутили гайки, вывозят трупы. На Яблоневке убрали актив, стало полегче. В Форносово есть запрет, но подгон тяжёлых наркотиков налажен. Вот, в принципе, и всё.

— А ты за что сидишь?Парни удовлетворены, сейчас можно посвятить время обсуждению новостей. И тут:

Прищурившись, спрашивает своим гаденьким голосом Сирота.

— Развратные действия... Хмм, — кивает Сирота абсолютно спокойным голосом, предвестником в девяноста девяти из ста случаев открывающегося конфликта, и спрашивает: — И что, тебя до сих пор не развратили?Стараясь не показать своё волнение и страх, отвечаю: — Условно, пол-тюрьмы за это сидит. Сто тридцать пятая, развратные действия. До трёх лет, она средней тяжести, — добавляю, чтобы смягчить впечатление от этих пакостных слов.

— Нет, всё в порядке.Принуждённо улыбаюсь:

— А хули ты мне, блядь, улыбки даришь?! — повышает постепенно тон Сирота, горяча себя нарочно.Комкаюсь от сухости во рту, и тут фраза:

Я замираю. В реальности, как бы все сокамерники ни ненавидели Сироту, как бы с брезгливостью к нему ни относились — но в этой ситуации никто же за такого, как я, не впишется.

У самого же сил для защиты нет. Я привыкаю к безразличному спокойствию, расслабляюсь, перестаю себя мобилизовать духовно и физически — почти пластилин.

— Иди, Лёха, чаю себе сделай, — и резко врывается Виноград.

И весь запал Сироты исчезает. Тяжёлый вес встал на мою сторону, и уже никто точно не влезет. Спасибо, Дима, я так устал за сегодняшний день. Увидев, что с меня буквально снято проклятие, подтягиваются остальные. Завариваем и, веселясь, уже совсем успокаиваемся.

Я рассказываю про суд. Парни, надо отдать должное, поддерживают меня и подбадривают. Уверены, что за слова ребёнка... А её неуверенность, о том что она видела всего поллица? Поэтому и помогали опознать меня.

— Давай-давай...

И я пишу ходатайство на ознакомление с протоколом судебного заседания. Эту бумагу надо отправить в течение трёх дней после заседания, иначе я не получу ничего и не смогу принять...

И не смогу пенять на эти слова. Ближе к одиннадцати залезаю на свой третий ярус, мгновенно вырубаясь, блаженно вытянув руки, спину, ноги. Оказывается, из-за недостатка движения при таких поездках тело очень устаёт и требует прямо общего расслабления. Начинаю вытягивать пальцы ног и вырубаясь.

Как манну небесную я жду протокола судебного заседания. И вот наконец щёлкает кормушка, и ровный, даже милый голос девушки из спецчасти произносит: «Берлин!». Подбегаю, беру скреплённые несколько листов документа, с радостью читаю в начале слово «Протокол». Так... свидетель-блондин, мама, бабушка. Наконец — слова девочки: «Да, во время опознания следователь и мама делали разные жесты». Читаю дальше, где должны быть слова: «Так они мне помогли опознать мужчину, потому что я его не помню, видела всего пол-лица». А дальше: «Вопросов больше нет», — говорит защитник. Допрос окончен.

Изнутри кровь с бешеной скоростью поступает во все органы, лихорадочно стремясь как можно быстрее заполнить всё моё существо. Я краснею, меня начинает колотить до скрежета зубного, до появления маленьких обломков, и я стискиваю зубы. Это ужасное, мерзкое чувство беспомощности перед произволом этой системы. Нет. Нет слов девочки. И где они, и как так получилось, что секретарь не записала их — я не понимаю. Пишу свои замечания на протокол и тут же вечером отсылаю.

Мне светит сто тридцать вторая статья, от восьми до пятнадцати лет. Это было для меня возможным спасением — обрати внимание судья на эти слова, я мог надеяться, что поколеблется доказательства моей вины.

Если не в целом, то хотя бы сомнение зародится. Теперь же — всё заново. Нет теперь вариантов. Придётся ещё раз вызывать на допрос девочку и добиваться от неё нужного ответа. Единственное, я боюсь — судья, из-за её возможного возраста, может отказать в повторном вызове, и тогда... Я в полной заднице.

Дни перед следующим судом тянутся и еле ползут. Я психую, не могу найти себе занятия. Книг в тюрьме нормальных мало, телик надоел. В результате часами ходишь взад-вперёд по центряку, пока кто-нибудь не спросит, и завяжется разговор. А потом, в зависимости от качества беседы, информативности, заваривается чифир, появляется сигарета, продолжение беседы — и отбой.

Но сегодня я останавливаюсь рядом с Серёгой — крепким, лысым парнем с нерастраченным интересом к самообразованию. Рядом с ним лежит книга Блаватской «Тайная доктрина». Это прямо страсть таких вот стремящихся зёков к философии: глубокомысленные трактаты и так далее. Прочитав эту или другую литературу, не поняв девяносто девять процентов из прочитанного — потому что, допустим, для понимания Ницше нужна подготовка и кое-какое образование... Есть самородки, не спорю, но это единицы. Вот он почитает — шаблон разговора: Канта, «Так говорил Заратустра»... Возьмёт пару цитат и жонглирует ими с умным видом в разговоре, не понимая ни контекста, ни общей связи.

Здесь же мне стало интересно: я очень мало слышал о Блаватской, Рерихах и всей этой грядке. По причине незаполненного времени решил ознакомиться с этим трудом. Читал я «Доктрину», спотыкаясь и засыпая. До конца так и не дошёл. Но у меня сформировалось мнение: это своеобразная интеллектуальная игра с мировым культурным наследием. Анализ с точки зрения математических зависимостей приведённых в Библии цифр гипнотизирует, вводит в интеллектуальный столбняк читателя.

А обыгрываемые образы обнаруживают новые связи с другими трудами, тем же Кораном и так далее. Всё объединяется в блендере, взбалтывается, вытряхивает миллиард терминов на

голову Серёже, страждущему. Одни только формулы и термины повергают его в священный транс, и он безоговорочно верит тому, в чём не понимает ни хрена. Отдавая книгу, я кидаю ему пару ленивых комментариев, оставляя его в полной, целостной уверенности: мол, вот ещё один лох прикоснулся и ни черта не понял. И он с хитрой улыбкой скупца, обладающего тайным знанием, прячет книгу.

— Слышь, старый! — вдруг взорвался крепкий белобрысый парень, периодически ставящий брагу и потом перегоняющий её в самогон.

Он откуда-то из Ленобласти — как крестьянин, прямолинеен и своеобразно хитёр. Его гнев, естественно, адресован Сироте, который уже своими капризами и самодурством, основанным на слепой вере в то, что опер-отдел поможет, надоел всей хате.

— Сколько можно пиздеть? Телефон Витин, скидывались мы, а пользуешься ты!

— Ты ни хуя не сделал, а прилип к нему, условно он твой. Завязывай давай, всем надо позвонить!

Судя по его виду, он настроен решительно, и Сирота ссыт.

— На, на, Андрюха, я подзавис немного. Забыл. Не сердись, звони, — с умильной улыбкой протягивает ему телефон.

Сутки Сирота как шёлковый, но вскоре отыгрывается на Мише, который им готовит. И здесь никто не вмешивается — если вписался в шныри, зуботычины неотделимы от работы и её статуса.

Спустя пару дней обедаем тихо, спокойно. Сирота о чём-то весело шутит с Витей-Подполковником. Он уже поел и отставил миску, поднимает ногу и пердит на всю хату, и потом продолжает что-то рассказывать Вите. Тишина. Я не могу дальше есть, эта мразь перебила весь аппетит.

Андрюха медленно поднимается в своём проходе и выходит из него со шлемкой, где немного макарон. Секунда — и эта шлемка на башке у Сироты, он валится на бок от удара.

— Андрюшенька! — жалобно орёт убудок и, шепелявя, блядь, сюсюкая: — Я случайно! Не видел, что ты ещё ешь. То есть... я ем?

— Ты гондон! Ты сколько ещё будешь мужикам кровь сворачивать? Я тебя ёбну, сука, сейчас, мне все только спасибо скажут! — Нельзя перед остальными! Можно? — краснея от злости, заводится Андрюха. — Нет, нет, Андрюшенька, я не то хотел сказать! — умоляюще плюётся скапливающейся слюной на месте выпавших зубов Сирота.

И ещё пощёчина.

— Не надо, Андрюшенька! Я всё понял! — машет руками Сирота, убирая с лица оставшиеся макароны.

Виноград оттаскивает Андрюху и подходит ко мне.

— Если Сирота будет просить оперов вызвать, говори ему: нет никого, — шёпотом говорит мне, так как я всё время на глазах.

Я киваю. Здесь не может быть каких-то колебаний. Я, конечно, на стороне Андрюхи и буду стараться мешать Сироте слить его с хаты. А то, что это произойдёт однозначно, я уверен.

— Ну чего, не появлялся? И на следующее утро Сирота шёпотом, пока все спят, просит меня сообщить, если появится Палыч — главный опер Лебедевки. Периодически он появляется на галёрке, и я киваю, про себя отмечая: хрен тебе, животное сраное. В течение дня он периодически подбегает ко мне с вопросом:

Я изумлённо мотаю головой. Так проходит пару суток, и Сирота понимает, что все настроены против него. Тут — жопа. Всю хату, к сожалению, перевести не может. Самому переезжать куда-то стрёмно — снова обживаться, притираться. Опасно, вдруг выебут суку. Такое пока в этой тюрьме возможно.

Хотя суки за последнее время так укрепили свои позиции и всячески поддерживаются ментами, что перестали бояться разоблачения совсем. Блатные уже чаще всего подтягивают в

хату к себе одну такую суку, чтобы под боком была своя ручная, изученная и контролируемая. Но, несмотря на смягчение нравов, всё равно общее отношение к ним не изменилось — в лучшем случае в какой-либо конфликт можно нарваться на пиздюли.

Но для меня это было всё второстепенное. В голове у меня был лишь суд и всё вокруг него. Наконец этот день настал.

Тяжёлое, мрачное утро. Дождь, слякоть, разломанный асфальт, перекошенные домашними проблемами лица ментов, конвойных, тюремных — всё, всё словно готовило меня к неприятному известию, говорило: «Приготовься, Лёша, всё пропало». Но всеми силами я тормозил себя и создавал логически законченные схемы событий с чёткими причинно-следственными связями. В общем, старался собрать мозги из хаоса.

— Я удовлетворила ваше ходатайство, — протяжно сказала мне Котикова. Хотя я не помню этих слов.

Меня подняли на заседание в одиннадцать тридцать. Поблагодарив её, я воодушевился: будем бороться! И, уставившись на адвоката, стал ждать договорённости с ним, атаки. Я вновь не хотел допрашивать ребёнка, в глубине души ещё рассчитывая, что судья зачтёт мне это благородство. Посоветавшись, мы договорились именно о такой схеме с адвокатом. Сегодня — повторный допрос девочки, и ещё ожидается выступление продавщицы магазина, которая спустя больше чем полгода что-то будет нам рассказывать.

Входит девочка. Уверенно и спокойно, за ней следует мать. Она не идёт за ребёнком на трибуну, не держит её. Садится рядом и наблюдает.

— Я вызвала девочку, чтобы прояснить по ходатайству обвиняемого один момент. Пожалуйста.

— Говорит она... — обращаюсь к адвокату.

Тот поднимается, поправляет пиджак, откашливается, хватается, перебирая, свои бумаги, окунается туда и... Пауза затягивается. Я вижу: он либо не понимает, что ему надо спросить, либо в силу каких-то причин не хочет этого делать. Я психую и кашляю демонстративно ему в спину — смачно, со значением.

— Вы не знаете, какой вопрос задать? — спрашивает у адвоката судья.

Идиот разводит руками и, не поворачиваясь, сука, даже ко мне за советом, мотает башкой, садится. Это очень плохо. У меня совсем не было плана, как подойти к девочке.

— Пожалуйста, только недолго. — Вы будете задавать вопросы? — спрашивает меня судья. — Да, — обречённо говорю я.

— Скажи, пожалуйста, какими... какими именно жестами они это делали? Показывали на одного из троих? — Ты говорила в прошлый раз, что следователь с мамой руками и жестами помогали опознать напавшего на тебя человека? — спрашиваю я ребёнка, стоящего в профиль и не поворачивающегося ко мне. Мама сидит сзади, не шелохнётся. Очень мне не нравится её спокойствие. — Да, помогали, — кивает девочка.

— Они поддерживали меня руками и своими жестами. Да, это поддержка была. Девочка мотает головой:

Судья смотрит на меня. Голова кипит, но результата от этого кипения нет никакого. Я не могу сформулировать этот хитрый вопрос, который бы позволил ребёнку проговориться.

— Есть ещё вопросы? — спрашивает судья.

— Нет, ваша честь, у меня всё. Поднимаю на неё глаза:

Сажусь. Внутри лёгкие словно спустились в желудок.

Это конец. Вся моя надежда возлагалась на допрос ребёнка.

— Тогда отпустим девочку, — произносит судья. — И вызовите последнего свидетеля.

Я уже и думать забыл, что есть ещё кто-то. Поворачиваю голову налево — в дверях стоит бесформенная брюнетка с короткой непонятной стрижкой, лет около тридцати. «Кто ты такая?

Что ты свидетельствовать собралась?» — пролистываю в памяти лица, оказавшиеся со мной в милиции в тот злополучный день, и не помню её начисто, точно.

Итак, начинаем допрос свидетеля, работающего продавцом — вот откуда эта бесформенность.

— В этот день многие в магазине обсуждали, что кого-то изнасиловали.— В магазине «Двадцать четыре часа», расположенном на углу Новгородской и 8-й Советской улиц, расскажите, пожалуйста, что вы помните о том дне? Сосредоточенная продавщица кивает и начинает, откашливается. Мешает скопившаяся мокрота курильщицы.

«Вот лепит! — хохочет мой мозг. — Когда они успели узнать-то?»

— В какую цену? — спрашивает меня судья.— Мы работаем сменами, и в этот день была моя смена, я работала с утра. Продаю и алкоголь, и в тот день народу было немного. К нам ходят одни и те же люди, почти всех мы знаем в лицо. — Скажите, свидетель, обвиняемый заходил к вам в магазин? Даже не смотря в мою сторону, продавщица отвечает: — Нет, нет, я точно помню. — Вы уверены в этом абсолютно? Обвиняемый утверждает, что он заходил к вам в магазин и покупал в вашем отделе пиво. — Какое пиво вы покупали? — «Охота крепкое» в банке, — отвечаю я.

— Да не было никогда у нас такой цены! Восемнадцать пятьдесят стоит это пиво. Вот это подстава. Прошло полгода, я не помню этого точно. — Двадцать два рубля вроде, — отвечаю я. Тут эта продавщица влезает:

Судья кивает. Ничего себе, вот это меня поймали. Ошибся, сколько пиво стоило полгода назад. С ума сойти можно! Что за доказательная база такая?

— Скажите, а вы всех посетителей помните, которые к вам заходят? Активизируется неожиданно мой адвокат, просит слово. Я уже и забыл про этого дятла.

— Я вот к вам вчера заходил, вы помните меня? — Да, — кивает продавщица самоуверенно, с вызовом.

— Да вы что... У нас каждый день столько народу ходит, что всех запомнить, что ли? Невозможно. Продавщица хмыкает:

«Молодец, хотя бы тут поймал», — думаю я.

— Так как же вы можете утверждать, что помните: этого человека не было в магазине полгода назад, а меня, зашедшего к вам вчера, не помните? Каким интересным образом устроена ваша память? Вы помните тех, кто не заходил, а тех, кто заходил, не запоминаете!

Продавщица молчит, судья улыбнулась.

— Нет, — качает головой адвокат.— Ещё есть вопросы к свидетелю?

Заседание окончено. На следующем, заключительном, планируются прения сторон и моё последнее слово.

Победа над бессмысленной продавщицей не радует. Допрос девочки себя не оправдал, и я ничего из этого не выжал. Перспектива моя непонятна. Убитый, я еду обратно. По приезду пью чай и валюсь на шконку. Особенно никто меня не расспрашивает — уже привыкли, что приезжаю без новостей.

Неделя проходит в тягостном морозе. Передвигаюсь как сомнамбула. В голове пульсирует вилка сто тридцать второй статьи: от восьми до пятнадцати лет. Эти периоды мне не представить, они не укладываются в моей голове.

Несколько поездок укрепили мой иммунитет против нападок по поводу моей статьи, я почти не психую в ожидании встречи с незнакомыми зэками. Ну вот и всё.

С утра волнами меня то знобит, то бросает в жар, то нападает панический колотун. Как дожить до приговора — не представляю.

Собачник. Дожливый двор тюрьмы. Не знаю в силу каких магнитных полей, но в основном в дни моих поездок обязательно отвратительная погода. Тряска на выезде.

Литейный мост. Кирочная. Силуэт симпатичной девушки под зонтом. Суворовский. Моисеенко.

В одиннадцать тридцать меня наконец с разламывающейся от курева и спёртого воздуха башкой поднимают в зал. Перед дверьми сидит мама девочки и ещё какая-то публика, дожидаящаяся, по всей видимости, судебного заседания в другом зале. Страшное, невыносимое одиночество испытываешь, проходя в наручниках мимо этих людей, пришедших из своих уютных домов, смотрящих на тебя как на какое-то отвратительное животное — со страхом, неприязнью и отторжением.

И так, решается моя судьба. Встаёт прокурор. По её мнению, всё доказано. А именно: я напал на маленькую девочку в парадной, намереваясь совершить с маленькой девочкой насильственные действия сексуального характера.

Зажал ей рот и начал непосредственно эти действия совершать: провёл рукой от писи до попы. То есть — преступление является совершённым и оконченным. Потом меня спугнул её крик, и я убежал. Всё в целом подтверждается собранными доказательствами, признанными относимыми, достоверными, допустимыми.

Итак, что у нас там собрано? Моя пятиминутка судебной психиатрической экспертизы, на которой я прошёл тесты, составленные аж в тридцать седьмом году. Из страшных изображений, фотографий надо выбирать сначала пару наиболее неприятных, и так три раза, потом из оставшихся выбираешь пару приятных. Тест: реакция на определённую ситуацию (машина облила меня, моя реакция), беседа о моём интеллектуальном уровне и проникновенный разговор относительно моих сексуальных предпочтений, проведённый со мной руководителем всей этой группы, состоящей из шести специалистов — пожилым человеком в дешёвой, застиранной рубашке, человеком в футляре. В конечном итоге следует стандартный вывод: в период совершения преступления расстройством личности не страдал, мог осознавать преступность своих действий.

Дальше прокурор перечисляет вкратце показания свидетелей, потерпевших, сгущая краски и представляя меня холодным, расчётливым маньяком-извращенцем. Для меня ничего нового, но последние слова припечатывают меня к скамье плотно.

— Прошу назначить наказание в размере десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — бесстрастно заканчивает свою речь прокурор.

«Вы охренели?!» — про себя кричу я. — «Да вы мне ещё пожизненное, блядь, влепите! Куда годится-то — десять лет!»

Встаёт мой замшелый адвокат.

Копошится, слюнявит пальцы, делая многозначительные паузы, выводит какую-то защиту, оправдания. Я вроде как, по его словам, не виноват, но именно прослеживается это «вроде как». Такое ощущение, он составлял оправдательную речь, а потом что-то его задело, и он решил поменять вектор, включил его непонятно куда, при полном оправдании укладывая всё в снисхождение. То есть: он не виноват, но я как бы понимаю, что вы его всё равно осудите по тем и тем-то, и тем-то, ну дайте ему срок тогда поменьше.

Другими словами, он показывает свою неуверенность в моей невиновности. А при таком раскладе он ещё больше топит меня. Если адвокат не уверен в своем подзащитном, что говорить о стороне обвинения и, тем более, взвешивающем все за и против единоличном судье.

Закончил. Вытер платком лоб — мол, запарился. Так бы всё лицо раскопал по деталям этой гадине. Трусливая живность, он просто боится прокуратуры. Мне говорили: дело на контроле у прокурора города, и тем более, не находя во мне материальной заинтересованности — он работает по просьбе своего начальства, — у него вообще нет стимула вытаскивать меня.

— Можете что-нибудь добавить? — спрашивает меня судья.

Я не готовился, но решаю выступить. Что-то говорю про стечение обстоятельств и вставляю информацию, полученную мной непосредственно накануне заседания:

— Я хотел бы, ваша честь, обратить внимание на то, что ребёнок, конечно, не склонен ко вранью, но крайне подвержен и легко поддаётся манипуляциям со стороны взрослых. Тем более — психически не очень здоровый ребёнок. Никто из педагогов или родителей не озвучивал этого диагноза, ясно прописанного в карточке ребёнка: перинатальная энцефалопатия. Конечно, я не могу трактовать в полном смысле медицинские термины, но описание этого диагноза, точнее его причины, я озвучу. Это заболевание ребёнка, выражающееся в той или иной степени слабоумия и вызванное злоупотреблением алкоголем родителями во время беременности.

Я оглядываюсь, сделав паузу. По-моему, мать бледнеет и теребит сумку.

«Да, мысленно я говорю ей, я сам пью с пятнадцати лет и прекрасно знаю, откуда этот землистый цвет лица, трясущиеся руки, бегающие глаза, кровянистые губы и мешки под глазами. Поэтому прошу вас, ваша честь, учесть это при оценке показаний девочки и поведения матери».

— Послушайте, обвиняемый, — начинает дискутировать со мной судья, и мне это неприятно. Мы почти на равных. — «Перинатальная» — это возраст ребёнка, может, это общий диагноз... То есть перинатальная — это только то, что при рождении.

— Я понимаю, здесь два слова, и второе определяет причины и вид — это энцефалопатия, это отклонение в умственном развитии. И на это я обращаю внимание.

— Нет, впервые слышу. Судья потирает лоб, я понимаю — ей не хочется ребёнка дискредитировать. Спрашивает у мамы: — Вы знаете о диагнозе вашей дочери?

Думаю, что здесь надо по схеме следака — отрицать все мои предположения. Сама себя дискредитирует. Что за мать, если диагноза дочки не знает?

Это же не я выдумал, а эта дура не понимает, считает, что я её путаю. То есть есть же в деле бумага с диагнозом и вытекающая из этого плохая успеваемость. Всё очевидно: ребёнок недалёкий, поэтому легко внушаемый, но таким прямым текстом, к сожалению, я не могу сказать.

— Хорошо. — Вы закончили? — спрашивает меня судья. — Да, ваша честь, — подчеркнуто вежливо отвечаю я. Мне нравится Котикова как женщина — очень чувственная, видно.

— Скажите мне, пожалуйста, — обращается судья к матери девочки. — Как строго вы хотели бы, чтобы наказали обвиняемого? Очень, не очень, как?

Мать в растерянности. Здесь дилемма, это последнее, что от неё требуется. Процесс закончен, теперь она должна вынести свою нравственную оценку произошедшего. Я жду с нетерпением. Если б она была уверена во всём — колебалась бы она перед этой репликой? Так думаю я. Ну что в голове у мамыши, накачанной следаком, бабушкой, операми — не могу даже предположить.

— Я не знаю, конечно... — мямлит она. — Три-пять лет...

Она поднимает глаза на судью как ученица в классе: «Я правильно сказала?». Охренеть, три-пять лет занесли над своим ребёнком! Да я бы пожизненное запрашивал, если б был уверен, что это именно тот человек! Что это за неуверенность в моей вине? И вашим, и нашим. Чтобы и волки сыты, и овцы целы. Три-пять — вроде как немного. Да, милая, чуть-чуть совсем, дура грёбаная...

Но главное, думаю, видно, что судья не может не отметить: она не уверена, что я тот, кто на самом деле напал на ребёнка.

Поворачиваюсь к судье. Разглядывает бумаги. Поднимает глаза. Не хватает воздуха, свело живот. Сейчас будет приговор.

Сама с собой посоветовавшись, судья выходит. Оглашение приговора состоится завтра, 20 октября. Застояние окончено. Поднимается и уходит.

Я чувствую себя наивным, доверчивым ребенком, которому что-то пообещали, но забыли выполнить. От беспомощности — полная потерянности. Глупо осматриваюсь. Никто не видит

моей трагедии, и никто, даже если видит, не посочувствует. Как вынести это ожидание? Во рту — словно извелась армия кошек, сушняк и пепельница.

Едем обратно. Я в коматозе. 10 лет. Не представить, не осознать этой цифры. Особенно применительно к своей жизни. Просто дни, когда... И вновь этот бурлящий психоз, разбивающийся о железобетон беспомощности. Мутится в голове и от голода, и от закипающих, бродивших нервов.

— Завтра приговор. Запросили... — Ну что? — равнодушно спрашивают в хате.

Нет, завтра все, походу, совру им. Иначе расскажи я про десятку — придется объяснять переквалификацию на 132-ю статью. А это долго, нудно и сопряжено с опасностью. Ведь переключить может любого и в любой момент: «А у этого пидора, оказывается, 132-я статья, а он обогнал, что 135-я! Хотя тебе, блин, какая разница? Почему ты пиздел нам, тварь?!»

Глава 9

Это я — тварь. Ах ты, блядь, белый и пушистый! Наркотики продавал, когда тебя взяли — всех заложил. Никто в хате просто об этом не знает, ты не вызываешь столько вопросов, сколько педофил.

А ты — страшный грабитель. Заволок бабу в гараж и с ножом отобрал сумку. Но у тебя, опять же, не спрашивают приговор. А что там? Грабитель и грабитель.

И только я — безмолвный буфер за все людские косяки, как мальчик для битья подставляю: правую, левую, правую, левую. А ты отыгрываешься, отыгрываешься на мне за всю свою просранную жизнь. Покалеченные тобой судьбы родителей, искалеченную жизнь твоих детей, алименты, на которые ты благополучно проторчал. А сейчас орешь мне: «Если бы я такого, как ты, увидел рядом с моим ребенком — убил бы, на ремни порезал!».

Да пиздишь ты. Может, и зассал бы.

Но не особо я интересен сегодня. Хата озабочена кормушкой. Пытается соорудить волшебную конструкцию, открывающую её через глазок.

Глазок представляет из себя треугольник, выступающий на двери снаружи, где на каждой из двух граней наверху вырезаны два квадратных окошка размером где-то шесть на десять сантиметров, заделанные толстым оргстеклом. Таким образом создается обзор всего помещения для ментов. Сейчас парни зажигалкой нагревают оргстекло, отгибают его снизу и сбоку. Через эту щель, почти незаметную для осматривающего извне, пропускают канатик с крючком. Задача которого — подцепить язычок замка и, потянув наверх, открыть кормушку, вываливающуюся с грохотом перпендикулярно двери на галеру. Тоже не вариант, палево. Поэтому надо делать это вдвоем. Из хаты к кормушке крепится еще один канатик, и когда замок открывается, держащий кормушку медленно опускает ее, чтобы не услышал грохот корпусной на кругу. Иначе он подбежит и закроет кормушку на дополнительный замок.

Этот проект захватил всю хату на весь день. Я же приехал уже к финалу, когда все возможные эксперименты были проведены и осталось отрегулировать длину, спрятать канатик, поддерживающий дверцу, чтобы он не вываливался прямо в руки менту.

Меня эта движуха не трогала никак. Как обычно, пью чай. Горстями сыплю сахар и пью сладкий чай уже с галетами, поначалу колом встающими в желудке.

Ложусь. Не сплю до двух часов ночи, несмотря на страшную усталость. Наконец проваливаюсь и почти сразу просыпаюсь — а уже шесть утра. «Отвратительно» — это ничтожная степень отражения моего состояния. Настроения, желания нет. Отсутствует малейшее представление о целесообразности всего.

Механически я умываюсь — долго и настойчиво, потому что если я этого не сделаю сейчас, могу промучиться часов до трех дня. А желудок капризен: метеоризм не дает возможности сосредоточиться, превращаясь со временем в страшные, разрывающие, подкашивающие колики.

Собачник, переключка, проверка — всё проплывает в коматозе.

Уже на суде. Заседание назначено на 11:30. Пробую уснуть. Невозможно. Сердце стучит, кровь разрывает виски. Курю — спазмы, болит голова. Хожу, лежу. Такое ощущение — вернулись, как привидения, комары. Крутит суставы, не найти положение, в котором удобно сидеть или лежать. Когда хожу — чуть забываюсь. Но сил ходить тоже долго нет. Сажусь — всё заново.

Всё. Сердце рухнуло в желудок... Я забылся и чудом отключился от происходящего.

«Поднимаемся в зал».

Всё как обычно. Впереди меня — какой-то невероятный здоровила с огромной от анаболиков задницей, позади меня — гоблины-полумужжи. Зал. Меня сажают в клетку, начинает

неимоверно колотить. Еле-еле удастся снять наручники — конвой не обращает внимания, привык. И на том спасибо.

Ждем Котикову.

Я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Кончики пальцев белеют, я наблюдаю за ними: то отпущу, то вновь прижму — как приливает и отходит кровь. Белые, красные, белые, красные... В голове — посторонний гул. Уши закладывает, нос не прочистить, такое ощущение — хронический насморк.

Наконец. И всё становится неважным. Входит судья.

— Итак, подсудимый, мы слушаем ваше последнее слово, и потом — оглашение приговора.

Господи, как я забыл?! Последнее слово... А я даже ничего не прикинул, не скомпоновал в голове. В сознании бегают отдельные, отрывочные мысли, при последовательном их озвучивании не представляющие вообще никакой общей картины. Что за издевательство, в конце концов? У тебя, тварь, уже готов приговор, на хрена эта формальность — моё последнее слово? Ты, блядь, решение поменяешь, отпустишь меня после проникновенного рассказа? Да и о чем? Всё и так уже понятно.

— Подсудимый, мы слушаем. Мы слушаем вас, — торопит меня судья.

— Ваша честь... — начинаю я и на пару минут выплескиваю какой-то сумбур, состоящий из: «зачем мне это», «я не такой», «понимаю, я сам виноват, не надо было столько пить» — и чего-то еще.

— У вас всё? — спрашивает Котикова.

Эх, оправдай свою фамилию, Котикова, не убивай... Я киваю, сажусь на скамейку.

— Перерыв. Может, пока отвезти его вниз? — говорит про меня мент-конвойный судье.

Значит, еще несколько часов. Котикова отрицательно мотает головой — значит, будет недолго, всё уже готово. Она уходит в совещательную комнату — якобы что-то там прикидывая, а на самом деле просто распечатывая готовый уже мой приговор.

— Прошу всех встать! — врывается в мои уши секретарь.

Входит Котикова. Я поднимаюсь на деревянных ногах и слушаю приговор стоя.

Тра-та-та-та-та-та... «В соответствии... подтверждающими... по показаниям...» Всё плывет, ноги трясутся, я держусь за решетку. Вот-вот, сейчас...

«...Считаю необходимым квалифицировать действия обвиняемого со статьи 132-й части 3-й УК РФ на статью 135-ю УК РФ, так как то, что он закрыл рот девочке, когда она закричала, нельзя расценивать как насилие. И назначить наказание в соответствии с санкцией данной статьи — два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По иску матери потерпевшей — обязать выплатить 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда».

— Подсудимый, приговор ясен?

Я киваю. Котикова, величественно стоявшая с моим приговором в руках, в черной-черной блестящей мантии, плавно переходящей в густоту темных волос. Черноглазая.

— Хорошо, заседание закрыто.

Ушла.

Два года мне оставила. И тридцатку. Перебила статью — это значит, сделала её из особо тяжкой средней тяжести. Соответственно, у меня по УДО — одна треть. Но уйти получится, скорее всего, только из зоны. Может, весной я и дома.

Господи, спасибо тебе. Спасибо, Котикова. Я понимаю, что не могла оправдать вчистую — большая огласка с этими статьями. Волны сильно разбегаются. На том спасибо, не 10 лет же. Вся эта тюрьма с процессом отняла очень много сил, и теперь я словно пустой бочонок, в котором крикнешь — лишь короткое эхо в ответ. Ударишь — пустой звук.

Организм отключился, впал в спячку. Приехал. Рассказал. Те из парней, кто понимал серьезность моего положения, поздравили со сроком.

Через пять дней я получаю протест прокурора — кассационное представление. Они считают, что мне мало дали, и просят пересмотреть приговор. Как ни странно, меня это не сильно пугает. Мне почему-то кажется — Котикова брала этот тайм-аут в два дня именно на утряску всех мнений по моему делу. Я на сто процентов уверен: многие громкие приговоры проходят стадию совещательного утверждения высоко и по горизонтали в инстанциях.

В конце концов, мне терять нечего, я тоже напишу кассацию. Но я прошу: дайте меньше. Никого ни в чем не обвиняю, просто прошу.

После приговора я словно повзрослел. Успокоился и стал смотреть на свое положение проще. Жизнь в очень короткие сроки вернула меня на место.

— Б...н, с вещами! Еще пару дней я прожил на Лебедева, и вот — открывается кормушка:

Так, дорога на Выборг. Туда, как правило, тогда везли дожидаться результатов рассмотрения кассационных жалоб. Чем вызвана такая система перекладных — я не знаю. Зачем везти сначала в Выборг, оттуда распределять по зонам? Дополнительный переезд огромной армии жалобщиков.

Тихо, спокойно едем в Выборг. Я почти не напрягаюсь и спокойно отвечаю на перекличке в столыпине свои данные.

Переезд занимает чуть меньше суток. Выборг встречает тишиной, спокойствием, размеренностью. Милиция гипертрофированно вежлива. На «вы» и очень предупредительно. Меня поднимают на третий этаж после короткого пребывания в чистом собачнике. Шестиместная. Рожи все более-менее, лишь один невысокий, страшно перекачанный узбек вызывает опасения. Здоровый парень.

— Здорово.— Здорово.

Вижу скошенные взгляды. То ли предупредили их, то ли хрен знает. Снова мандраж, колотит. Начинаю рассказывать, мельком оглядываюсь. Хата небогатая. Телека, а значит и трубки нет. Состав непонятный. Узбек, молодой симпатичный парень, таджик, не слезающий с пальмы, и еще кто-то невзрачный. Никого, способного что-то решить, нет. Что за хата-то?

Тем временем меня выслушивают, мнения не высказывают. Рассказав, что где находится — кипятильник, хлеб и так далее, — ко мне теряют интерес. Я пью чай, моюсь и заваливаюсь спать.

Скоро приносят еду. Еем. Отмечаю, что хата съедает подчистую всю баланду, ничего не остается. Значит, бедные здесь живут. Плохо дело. На Лебедева я привык, что чай, курица постоянно было.

За вялыми текущими разговорами проходят несколько дней, и выясняется: за исключением невнятного таджика, здесь все сидят по аналогичным моей статьям.

Молодой, симпатичный Рома из Приозерска сидит за распространение порнографии. Впервые встречаюсь с осужденным по такой статье — просто совсем дуболомом надо быть, чтобы сесть за это.

Невнятный парень сидит с подельником, которого я по приезде не встретил — он был где-то у оперов. Сидят за изнасилование, по их словам, какой-то шлюхи. Один — полный колхозник, а второй — высокий красавец-брюнет с темными загадочными глазами и повадками дворянина. Судя по их рассказам, подтверждавшимся более-менее материалами, которые они (в отличие от узбека) не скрывали, девушка и впрямь знала, на что шла. А написала заявление исключительно из-за того, что кроме красавца-брюнета её неосмотрительно выебал еще и колхозник. Узбек сидел, по его, опять же, словам, вообще непонятно за что. Какая-то цыганка пришла к ним в дом, начала разводить его мать, прикрываясь статусом соцработника. Внезапно появился он — с намерением проучить мошенницу. И выдал ей в рот... почему-то. Интересная сатисфакция. Во время своего рассказа он очень нервничал, двигал раздутыми протеиновыми

бицепсами и путался в деталях, оправдывая это плохим знанием языка. Прямо классическая отмазка всех иностранцев: соврал — и можно сказать «я плохо понимаю русский». С этими понятно, но что здесь делал таджик, укравший куртку у собутельника на Московском вокзале, было непонятно.

Наконец кто-то чухнул, что сидят в одной хате два подельника, и брюнета перевели. Нам закинули дачного вора с шестьюдесятью восемью эпизодами его преступной деятельности. Когда он уходил на следственные мероприятия, мы все дружно сошлись во мнении, что надо быть конченным долбоебом, чтобы задокументировать столько эпизодов. Но дачный вор не унывал и намеревался соскочить со своих чайников, алюминиевых кастрюль и еще какой-то херни, оставленной расслабленными хозяевами без присмотра.

Обстановка в хате недружная, если вообще слово «дружба» применимо к тюрьме. Я, считай, большую часть времени сплю, изредка что-то отвечаю на вопросы — не больше не меньше. Куда я отправляюсь — не представляю, еще пару месяцев, и конечный пункт.

Рома рассказывает со смехом свою делюгу в очередной раз. Он отымел знакомого, что-то у него постоянно кланчившего. Разойдясь, он вспомнил еще что-то, и я стал вслушиваться:

— Короче, корешу моему, синюшнику, на этой же точке — он дисками торговал — подходит дед, постоянно у него берущий детскую порнуху. «Слушай, — говорит, — а сам смущается, мямлит. — Я такую там черненькую девочку видел, можешь найти? Никаких денег не пожалею».

У кореша натурально засвербило, счётчик защёлкал, в глазах — нули. «Не вопрос, — говорит. — Организуем девочку». Базарит он, как сутенёр. «Телефон оставь. На днях позвоню». Уходит мужик. Кореш чешет репу: что делать-то? Денег хочется, а где этому извращенцу девочку взять — вопрос. Звонит барыге. Объясняет ситуацию. Тот вообще на боках: «Да не парься, братан. Организуем твоему педофилу девочку. Пусть платит только». Договариваются. Созванивается кореш с дедушкой — мол, всё нормально, завтра можно пересечься. Определились. Кореш договаривается, чтоб пораньше с «девушкой» пересечься, обсудить детали.

— Встречаемся на площади. Издалека вижу — реально малолетка идёт: метр пятьдесят, сложения как у девочки, чёрненькая. Вот это удача. Как щас вкручу старика! Девушка приближается. И чем ближе она подходит, тем больше какая-то хрень чувствуется. Поравнялась. Ёб её мать... Стоит передо мной сморщенная тридцатилетняя высохшая наркоманка. Без калитки, гангрена сквозь колготки тёмные просвечивает. Из детского у неё только непонятно короткая стрижка, из-за которой кореш её за малолетку и принял. Рассказывает, Рома начинает давить тизера от смеха:

— Короче, задница полная. Не прокатит. Точно, а дед уже трезвонит. «Иди, — говорю этой шмаре, — домой». Та равнодушно кивает и уходит. Она вмазанная в сопли, ей вообще по херу, где шататься. Деду объясняю: родители девочку спалили, пока не получается. Но надежду пусть не теряет. Ёбнуться, каких только пассажиров не увидишь.

Хохочем. Я просто заваливаюсь, заливаюсь, картинку представляю себе: вытягивающееся лицо неудавшегося сутенёра и приближающееся к нему упоротое уёбище. Это, можно сказать, весёлый день. Повеселившись, каждый вспоминает забавные истории из жизни. Пьем чай, что-то курим. Я отдыхаю. Здесь я никому не нужен. У всех стрёмные истории, и третировать меня лично отдельно никто не собирается. Готовлюсь. Ибо ждёт меня дальше неизвестность. Пересылки, этапы — всё это ещё предстоит встретить и пережить.

Неожиданно простужаюсь и пишу заявление в медчасть. Принимают вежливые врачи, выдают мне упаковку антигриппина. Там два блистера по 10 таблеток: одна платформа — аспирин, вторая — димедрол, перемешанный с чем-то. Радостный возвращаюсь в хату. Принёс развлечение. Оставляю себе четыре колеса, остальные отдаю. Закидываемся, и через час меня

плющит, расслабляет, тянет медленно и неторопливо поговорить. Сплю двое суток с перерывом на туалет и еду. Офигенно для здешних мест я оттянулся.

Медленно и неумолимо подполз день этапа. Вроде еду в Пермь. Что там — толком никто не знает. После долгого перерыва меня вновь трясёт и колбасит. Одним из первых меня спускают в собачник. Там ещё никого нет, я забираюсь подальше. Забивают за час почти до отказа. Поздний вечер. Чифир. Воспоминания. Стараюсь избегать вопросов «а ты за что?» и разговоров вообще. Подхватываю любую постороннюю тему. Психую страшно. Уже отметил среди этапников потенциальных противников. Очерченные скулы, гуляющие желваки, злой взгляд, перебегающий с одного на другого — что-то оценивают.

Стараюсь с ними не пересекаться и одним из первых падаю в тряпки. Спящего-то точно никто трогать не будет — своего рода «я в домике».

Утро. Завтрак. Готовимся к отправлению. Входит мент с пачкой дел. Колотун усиливается. Вот он — момент истины. Сейчас я буду вынужден произнести свою статью. И как я ни стараюсь промямлить цифру, 135 — слышь, услышат все. А это как красная тряпка для желающих гнобить.

— Морозов Сергей Евгеньевич, 1978 года рождения, статья 161-я, часть вторая, срок два года. Илюхин Олег Петрович, 1981 года рождения, статья 158-я, часть третья, срок пять лет. Мент начинает, конвойный:

И так постепенно, конвойный называет почти всех, остаются единицы. Мне представляется: сейчас названных уведут, останутся остатки, а это уже не толпа, здесь попроще. Это когда толпа заведётся — хрен остановишь, а так, поодиночке, никто особенно не любитель выступать.

— Алексей ...ич, — начинаю машинально, не слыша своего голоса, теряющего силы где-то по пути от лёгких к горлу. — 1974 года рождения, статья 135-я, срок два года. Моя фамилия...

И сразу же, словно по взмаху волшебной палочки, по какому-то невидимому движению кукловода, несколько человек поворачивают любопытные головы ко мне. Ну вот и началось. Я отмечаю среди них Лёху, известного своей общительностью на галере и очень лояльно, по-приятельски общавшегося с одним из сидевших в нашей хате подельников, изнасиловавших девушку на пикнике. Мне кажется — при кипише я смогу апеллировать к его здравому смыслу, но следующие события разочаровывают меня.

— Там нет частей. Одна часть, до трёх лет, — отвечаю я. Переключка закончена, конвой ушёл. И этот же самый Лёха начинает расправу. — А какая часть у тебя? Какая часть? — спрашивает он.

— И смотри, сидел так тихо всё время! Никому ничего не рассказывал. Думал, пропетляет по-тихому! За Лёхой возникает призрак любых подобных разборок — маленький бойкий шкет в кепке набекрень. Он суетится, но близко ко мне не подходит, а прыгает рядом с Лёхой, подначивает:

— Слышь, ты, — повышает голос Лёха. — А чего ты так вольготно сидишь? - Парень такой, блядь, простой. Бумаги у тебя далеко? Или у адвоката все, с собой не возишь? Я просто чувствую, как растёт, разбухает эта ненависть ко мне окружающих. Ширится, заполняет пустые мозги, щекочет кулаки.

— У нас такой сидел крендель. «Фигня, — говорил, — прокладка мусорская. Да там и не было ничего, и терпила, мол, совершеннолетняя конченная шлюха». А потом заезжает к нам один пассажир и прикалывает, что у этого ублюдка серия изнасилований детей. Похищал, насиловал, несколько эпизодов. Жаль, его к этому времени перевели уже куда-то. Ну и? — повернувшись ко мне. — Есть приговор? Он повернулся к остальным, с интересом наблюдавшим за разворачивающимися событиями:

— Сейчас, сейчас всё выясним! Тоже маньячило скрытый. Так-то по виду и не скажешь. Маскируется, сука, привык! Я медленно, стараясь не выдавать мандража, достаю из папки, лежащей как раз сверху баула, бумаги. И протягиваю ему. Берёт, начинает читать. Шкет исходит на говно:

— Да у него здесь доказуха полная. Лёха отрывает глаза от приговора и, потрясая им, выдаёт резолюцию, без малейшей с моей стороны надежды на апелляцию:

— Доказуха чего?.. Я с удивлением смотрю на него:

— Ты что, блядина, ещё зубы показываешь?! Заткнись на хрен! — прыгает на меня шкет. Баран! Что там доказали-то?

Резко привстав пытаюсь ударить его. Но он, вовремя распознав, начало движения, отпрыгивает назад, и слева уже Лёха, кинув на скамейку бумаги, бьёт меня в челюсть. Совсем не больно, дерётся малыш плохо. Я хватаю его, он пытается меня оттолкнуть, и меня вдруг резко тянет назад. Кто-то обхватил мою шею рукой, валит меня на пол. Рядом стоят шконки, я держусь за стойки. Лёха повисает на верхних и бьёт меня ногами. Хаотично попадает по куртке, ногам, не причиняя мне никакой боли. Захват сзади с меня сняли. Понимаю — просто лучше молчать. Особо забивать меня никто не собирается, ну и терпеть мои возражения на их «праведный гнев» никто не будет.

— Ебало завали своё! — уже больше для проформы рывкает Лёха и отходит перемывать мне кости к приятелям.

Я понимаю — пока всё закончено. Можно расслабиться. Достаю сигареты (спасибо парням, дали пачку на этап, а то вообще бы с ума сошёл). Закуриваю «Винстон». Полегче. Но это начало, и по физиономиям неприятелей я понимаю — они в ожидании реванша. Никак нельзя было допускать такое поведение с моей стороны.

Открываются двери, по очереди вызывают с вещами. В моей голове — муравейник: как избежать поездки с ними? Остаться, сказавшись больным? Пожаловаться на них? Попросить отдельное купе в «столыпине»? И всё равно ведь по этапу дальше пересечёмся, и будут издевки, и вообще — это не выход. Услышав свою фамилию, добровольной жертвой иду на Голгофу.

В «столыпине» вижу — они выглядывают, высматривают меня, предполагая, что сейчас я ломлюсь к ментам. Тем, что оказываюсь с ними в купе, удивлены и пока молчат.

Понимаю, раз они наверху... Купе представляет из себя три яруса: внизу шесть человек, дальше две параллельные шконки, между которыми закрепляется ещё одна доска, образуя широкую площадку (здесь обитают ещё четверо), и двое на самом верху — ещё две параллельные доски. На площадке я могу остаться лишь внизу, и спать придётся сидя.

— На этапе никто не спрашивает, ни за что. Да и вообще — во всём надо разбираться и смотреть в первоисточники. Вот приедет в лагерь, там всё и определится. Пока не лезьте к нему. Да, редко за поездку появляется физиономия то этого Лёхи, то его кореша (внезапно за компанию меня возненавидевшего), физиономии периодически отпускают какие-то колкости в мой адрес. В конце концов они так настраивают против меня всё купе, что со мной никто не общается и не чифирит. Правда, всё это продолжается до тех пор, пока на одной из остановок к нам не закидывают видавшего виды полосатого. Он осаживает желающих меня подербанить:

Благодаря мужику еду дальше в относительном умиротворении. Мне даже кипяток передают. Черти задроченные. Стадо. Тот, кто недавно просил у меня закурить, один из первых был за то, чтобы меня отодвинуть. Это называется — до выяснения.

Вдруг на самом деле я стрёмный какой-то, в жопу трахаюсь или в пилотку ныряю, а тут серьёзные, только-только от стакана с портвейном отлучённые мужики? Зафаршмачиться боятся.

— По очереди! Первый пошёл! — выбегаем в автозак. Едем, как выясняется, в Обухово. Никто толком не знает, что там. Приезжаем уже под вечер. Февраль, стемнело давно. На улице крепкий, злой минус.

Забили, суки, битком, сидим друг на друге. Ехать недалеко. Внутри тусклая-тусклая лампочка, так лучше — не видишь выражений лиц сидящих перед собой. Та мысль, что любой просто ждёт момента доебаться, не покидает и мучает меня. Кто-то закуривает, и дышать становится вообще нечем. Свежий сигаретный дым, перемешанный с запахом автозака — то ли свежепокрашенного, то ли чем-то обработанного от возможной заразы, — перехватывает дыхание, мутится голова.

— Тьфу, сука, — шепчет курящий, и внизу, под ногами, маленькими искорками тушится сигарета. — Кто там курит, вашу мать?! — кричит конвойный, сидящий напротив нашей двери-решётки, когда запах наконец доходит до него. — Не-не, гражданин начальник, — раздался хриплый, с иронией, голос. — Мы пару тяжёлых — и всё, выкинули уже. Зачем судьбу дрочить! — Щас «Черёмухой» залью! — орёт конвойный.

— На выход! — командует старший. Подъезжаем. Шлюз.

И, словно издеваясь, называют фамилии сидящих в самом конце. Им приходится протискиваться между плотно сидящими, получая в спину тихие ругательства. Кое-как вышли. Идём через зону. Темно. Справа — два барака, стоящих перпендикулярно, в несколько этажей. Зона большая. Через плац проходим медленно к торцу какого-то двухэтажного здания справа, защищённого локалкой. Открывается дверь, заходим. Слева на крыльце появляются эки. Сопровождающие выходят, прикрывая за собой локалку. Сейчас, я уверен, на лицах их блуждают сладострастные улыбки. Вот и всё.

— На корточках! По парам сели! Ебало вниз! Быстро, животные! — закричали со всех сторон одновременно несколько человек.

Для нас, только вышедших из чёрных централов, это кажется розыгрышем. Медленно оглядываюсь по сторонам, присаживаемся. Но наше замешательство — лишь до первых валяющихся и корчащихся от боли соэтапников. Нет, это не шутки. Вцепившись в баул, я сижу на корточках, изучаю молнию на нем. На улице порядка минус двадцати. Руки, ноги замерзают в секунду. В голове вертится: что сейчас будет с нами? Куда мы попали?

— По парам! С первых! Заходим в на шмон! — кричат козлы.

— Сидеть, животные, молча! Не разговаривать! Внимание! У кого есть запрещённые предметы — отдавайте сразу. Иначе будет пиздец, если найдём мы или милиция. Телефоны, сигареты, наркотики. Давайте, давайте поактивнее! А это именно козлы. Суки и козлы. Я проклиная всё на свете — так получилось, сижу почти в конце. Ждать помещения долго. Но я немного потерял.

— Ещё раз повторяю! — взрывается козёл. — Если мы найдём — пожалеете, что родились! Я слышу, кто-то напуганный поднимается, что-то рассказывает. — Иди сюда! — кричат ему, уводят, вижу краем глаза, в помещение.

— У кого 131-я, 132-я — поднялись, идём сюда! Вдруг программа меняется:

Меня страшно колотит. Зубы чуть не крошатся от трения. Челюсти болят, так я их стискиваю. Впереди — согнутые спины, словно сложенные огромные тюки с вещами, безжизненно застыли в ожидании неизвестного, страшного, неизбежного. Вокруг нас — ночь. Пустая, холодная, абсолютно глухая к нашим просьбам, мольбам и страху. По углам наверху локалку освещают тусклые фонари, лишь обозначающие наши очертания. Яркий свет вырывается на крыльцо из здания, когда выходит за следующей партией один из козлов.

— Повторяю, блядь! У кого 131-я, 132-я — сюда бегом!

Ещё сильнее вжимаю голову в плечи. Формально я не имею к этому отношения. Ведь у меня 135-я. Но понятно, что речь идёт о сексуальных преступлениях. Будь что будет. Посижу пока. Отдалить как можно дальше столкновение с непонятным злом — единственное моё желание. И даже мороз, затёкшие от неподвижного сидения ноги не тревожат так, как представление, что там могут сделать с людьми, осуждёнными по этим статьям.

Ну, как ни оттягиваю, возглас: «Следующий! Следующие двое! Ты что тупишь, мразь? Иди сюда!» — относится ко мне.

В помещении тепло, светло, оживлённо. Из комнаты в комнату кто-то периодически перебегает. Мои коллеги по этапу стоят перед лестницей из десятка ступенек лицом к стене, держа перед собой баулы. Я становлюсь рядом. По очереди нас дёргают в одну из комнат, начинается обыск. Взрывают всё: сигареты, чай, выворачивают шмотки, разбирают бритвы, кипятильники, ломают обувь. Ищут что-нибудь запрещённое. Всё это делают эки. Мне же везёт, у меня не так много вещей.

— Вы быстро, выходи давай! Покидай всё обратно, — кричит над ухом козёл, — потом сложишь!

Не имея ни малейшего желания возражать, делаю как сказали. Тяжелее богатым маменькиным сынкам: их хорошие вещи, месяцами аккуратно складываемые в пакетики, теперь перемешаны, разорваны, выпачканы. И никому нет дела до их печальных взглядов, провожающих прячущиеся в глубине баула уже грязные шмотки. Обыск закончен.

Всех нас вывели на галеру и вновь расставили лицами к стене. На галере чисто, светло, по стенам — камеры. По очереди заходим.

— Глаза в пол! Даёте доклад: кто вы, по какой статье сидите, ну и на вопросы отвечаете! Всё понятно?! Не слышу! Один из козлов (я насчитал троих высоких, крепких козлов) кричал:

— Давай первый! — он показал на дверь. Слабыми голосами отвечаем: — Да...

В конце галеры, кроме серых железных, как двери хат, была деревянная белая дверь в кабинет. Рядом на стуле устроился среднего роста, с крупной кучерявой башкой отморозок с бесцветными, безжизненными глазами. По очереди заходим туда, и кто-то быстро, а кто-то через продолжительное время вылетает. Не задерживаются.

— Иди становись, придурок! — кричит один из высоких молодому парню с огромными, полными ужаса глазами, перебежками вставшему в конец и держащему дрожащими руками разорванную в клочья куртку, вывернутую и разрезанную сумку, рванный пакет с вываливающимися из него покромсанными шмотками.

Оказывается, этот парень, испугавшись наказания за найденную, возможно, сим-карту, сказал, что она у него есть. Только не помнит, куда её положил.

Козлы издеваются и злорадствуют над пареньком. Так испугались лишь первоходы. Поскольку «полосатые», даже если что-то имели, благоразумно молчали — найдут так найдут. Ему разрезали всю одежду: джинсы, куртку, баул по швам, выпотрошили все мешки, перемешав типа случайно чай с кофе, а мыло с кашей. Потерянный, испуганный насмерть парень стоял, упирался лбом в стену и пытался удержать отдельные тряпочки, бывшие раньше его вещами, забитые собранными вперемежку пакетами, чаем, мылом, зубной пастой, носками и сумками. По большому счёту ему надо было выкинуть основную часть — безвозвратно испорченную, но он боялся что-то спросить и бережно прижимал всё это к груди.

- По трое заходим.

— По трое, блядь, дебилы! — крикнул он, резко схватив за шиворот последних двоих так, что затрещала материя. Справа вышел активист из ещё одной двери в служебное помещение. Стоящие рядом, толкая друг друга, протиснулись вовнутрь.

— Трое, пошли! — высовывается козёл. Я напрягся: что там такое? Но криков, громких голосов оттуда не было слышно, значит, не бьют. И то хорошо. Достаточно быстро все проходят через эту комнату, и вот уже моя очередь.

Мы быстро заскакиваем в комнату.

Там стоят два низеньких стола, на которых лежат листки бумаги и ручки. Полумрак, непонятный интим.

С ужасом и недоумением парень встаёт на колени. Много месяцев спустя он станет завхозом церкви, будет очень серьёзным, рассудительным и порой в чём-то непреклонным. — Один сюда! — он расставляет одного из нас у первого стола. — На колени вставай!

— Руку... руку бери, ручку бери! — и, повернувшись к нам, расставляет нас с разных сторон другого стола.

— На колени вставайте!

Рявкает сука. Я понимаю смысл: при высоте столов так удобнее писать. Но в силу общего расклада, слыша эту фразу, меня начинает коротить.

— Ручки взяли. В правом верхнем углу пишем, — он даёт образец, такой же, только со своими данными. — «Начальнику учреждения от такого-то, тогда-то осуждённого»... и так далее. Написали? Быстрее давайте! Теперь посередине: «Заявление». Написали? Дальше под диктовку: «Травмы, ссадины мною получены...» Вы откуда приехали? С Лебедевки? Значит, пишем: «...во время пребывания в изоляторе 47/4 по адресу: ул. Лебедева. Претензий к администрации ИК Обухово не имею». Число сегодняшнее, подпись, суки.

Страхуются. Если кого-то переломают — предъявят собственноручное заявление. Становится ещё более жутко. То, что ты пишешь — это как «в моей смерти прошу никого не винить» с пистолетом в чужой руке у твоего виска. Что у них на уме, толком не знает никто. Насколько далеко они могут зайти? Трясучка, холодеют пальцы, почти не чувствую ручку. Ноги ослабели, не могу подняться.

— Встали, пидоры! На выход! — собрав наши заявления, кричит козёл.

Мы выбежали на галеру. Уткнувшись лбом в стену, руки за спину. Я уже забыл, но подходила моя очередь на собеседование к главному. Кто там за дверью — мент, главкозёл? Лучше уж мент. Пока я предполагал возможные варианты развития событий, подошла моя очередь.

— Заходишь, смотришь перед собой в пол. Отвечаешь быстро и чётко, — консультирует меня мерзкий тип. Вблизи видны огромные проблемы с кожей — оспа, перемешанная с гнойниками, усыпала всю морду.

— Ну? — беззлобно говорит он. — Кто ты? Давай всю шапку. Стучу, заходя. Смотрю, как и сказали, перед собой. Краем глаза вижу силуэт, понимаю — это зэк на диване, наблюдает. Пауза.

— И что ты сделал? — ровно, почти равнодушно спросил зэк. Я тарабаню, как в милиции: — Такой-то такой-то, такого-то года рождения, статья 135-я, срок два года общего режима. — 135-я — это что? — Развратные действия в отношении несовершеннолетних, — дрожащим голосом, преодолевая сухой твёрдый комок, предательски выросший в горле, говорю я.

— Понятно. Родные есть? — так же спокойно, почти проникновенно продолжает он. Вкратце я рассказал. Пауза. — Понятно. И сколько дали? — Два года.

— Нет, умерли все. Уже сирота. Никто не помогает. И тут я прекрасно понимаю, к чему дело клонится. Включаю дурака:

— Да где придётся. Угостит кто... Так как-то. Не смотрю на него, но чувствую — анализирует. — И что, как живёшь? — В каком плане? — Ну там... чай, курить?

Краткое молчание.

— Ладно, развратник. Выходи на галеру и на растяжку к стенке. Стой пока. — Поверит или нет?..

Я выхожу, становлюсь на растяжку справа от двери. Вроде прокатило. Больше всего я боялся из-за статьи, а тут получается — или обошлось, или поверил.

— Да обычно всё. Вон, развратник стоит. Вдруг на галере появляется мент. Небольшого роста, молоденький мусор проходит с улыбкой, глядя на расставленных по бокам галеры у стен зэков. Открывается дверь к главному козлу. — Ну что с этапом? — спрашивает, стоя на пороге, мент.

— Здесь, что ли? — мент выглядывает на меня в коридор. — Что так стоять-то? Пусть, блядь, приседает. Давай-ка, развратник, полтинничек. Сможешь? У меня подкашиваются ноги.

Не представляя, смогу я или нет, начинаю приседать. Первая десятка выходит легко. Вторая уже чувствуется. Третья — я не уверен, дойду ли до пятидесяти, и лишь предположение, что со мной будет, если не присяду, даёт дополнительные силы. Сорок. Сорок шесть. Пятьдесят. Выпрямляюсь и аккуратно оглядываюсь. По краям галеры по-прежнему стоят эки. Ни мента, ни главкозла нет. Дал мне, сука, задание и ушёл. Мог бы и не напрягаться.

— Ноги раздвинь, — без злости требует козёл. Встряхиваю ноги, становлюсь обратно на растяжку. Выходит мент с козлом.

— Вот это правильно! — смеётся мент. — Прямо по оружию преступления. Так и надо. Я становлюсь шире и... получаю удар по яйцам сзади. Но больше страха в этой ситуации мне доставило само представление об этом ударе. Сам же он — то ли не получился, то ли так и было задумано — не причинил мне ни малейшей боли.

Сжимаюсь. Ещё удар. Делаю вид, что очень больно, а на самом деле вообще ничего не почувствовал. Глаза в пол. Вижу — со мной закончено. В руках козла — плоская крепкая доска. Судя по тому, как он её держит, служит она для устрашения и битья.

— Ну чего, проверим твёрдость? Подходит к одному азеру, со мной ехавшему в купе, молодому, спокойному, улыбается:

— Ишь ты, — удивляется козёл, и его лизоблюды, подойдя, смеются. — Смотри-ка! Держится, даже не пикнул. А если сильнее? И — раз! — размахнувшись, плашмя бьёт его по ягодицам. Азер вздрагивает, но молчит. Я вздрагиваю с ним, представляя и зная, как это больно.

— Молодец, — говорит козёл и оставляет его в покое. — Всё, не парься, больше не буду. — Кладёт азеру руку по-дружески на плечо. И, размахнувшись, резко, хлёстко бьёт его вновь. Азер закидывает голову назад, выгибается, но не произносит ни звука.

Азер, повернув к нему голову, радостно улыбается и кивает. Это что, «целую руку, наказывающую меня», или как там по тексту?..

Тех, с кем проведено было собеседование, имевшее, как я понял, единственную цель — пробить, есть ли возможность что-нибудь затянуть, распределили по камерам. Меня толкнули в пустую, просторную, чистую, совсем безжизненную хату первым.

Осмотрелся. Слева, друг за другом — две двухъярусные шконки, и так же справа. Посередине — привинченный стол с двух сторон, между ними — прикреплённые к полу полускамейки. У дверей слева — умывальник и очко, отгороженные лишь отходом, и прямо — большое окно, заделанное толстыми мутными, непрозрачными стеклянными блоками, подпирающими форточку.

Выбрав нижнюю шконку слева, ближе к двери, я присел на неё, ощутив расслабляющую ломоту во всём так долго напряжённом теле. Да... Секунды отдыха были мне подарены Провидением.

— Эй! — крикнул в распахнутую дверь один из козлов. — Матрас возьмёшь и обратно! Давай, блядь, бегом! — вдруг заорал он.

Я побежал в начало коридора, направо зашёл, взял матрас и обратно.

— Заебал елозить тут! — раздался голос из глубины комнаты, и я слева обнаруживаю огромную сваленную бесформенную грудку матрасов с разорванной материей и вылезающей ватой. Вновь с помутившимся от страха рассудком, с расфокусированным зрением тыкаешься на ощупь в тёмной комнате, куда мы скидывали наши вещи.

— Положил на шконку пока и сел рядом! — гаркнул козёл, пропустивший меня обратно в хату. Хватаю вроде крепкий, на бегу, и бегу обратно.

Плюхнувшись на холодную железную шконку с омерзением, я стал разглядывать полученный матрас. Он был страшно грязный, мокрый — то ли от пота, то ли от умерших на нём, то ли от влажности подвального помещения. Со всех сторон вылезала вата, перемешанная с

какими-то нитками и каким-то мусором. Попытавшись руками немножко расправить сваленные комки, я понял тщетность этих усилий и отвернулся от этой груды рваных тряпок.

Вскоре хату забили. Парни расселись на шконках и молча ждали какой-то очередной команды. Бодрее всех выглядел азер, получивший на галерее по заднице доской. Он улыбался, что-то планировал и ещё больше воодушевился, когда открылась дверь и закинули его брата. Брат был девятым в нашей восьмиместной хате, и, посчитав присутствующих, азеры завозмущались. Оказалось, в кабинете главкозла они пообещали завтра перечислить по десятке, чтобы нормально сидеть здесь. Главкозёл пообещал условия люкс и даже угостил пирожками.

Я и ещё пару человек, видимо, имевшие представление о подобных разводках, смотрели на них с сожалением. Азеры же, думая: «Не волнуйтесь, щас всё решим», заколотили в дверь. Через минуту открылась кормушка.

— Чего колотили? — медленно спросил один из боровов, и тон его внушал сильное беспокойство.

— Они закивали. — Но... тут как бы... мы вдвоём... Азеры радостно закивали — мол, они колотили. И начали наперебой объяснять причину кипиша. Козёл выслушал их, спокойно закрыл кормушку и открыл хату. — Здесь вы спите? — показал он на ближайшую к нему шконку справа.

— Вальтом легли, пидоры! — крикнул на них здоровяк, и азеры мгновенно исполнили команду. — Вот так спать будете! Ясно вам?! Не успев договорить, они сломались от жёстких ударов в сплетение, рухнули друг на друга от резкой двойки в челюсть.

— Ещё претензии есть? В ужасе азеры закивали. Козёл осмотрел хату:

Всеобщее молчание. На подвиг противостояния никто не готов. Активист выходит, закрывает за собой дверь. Жаловаться бесполезно. На две недели мы оказались в пространстве полного беспредела.

— Я ничего не понимаю... Мы полчаса назад договорились, что мы ему десятку на двоих завтра закидываем. А он взамен нам нормальные условия создаёт. Это нормальные условия? Как это понимать?! Пирожками нас угостил — и вот... Что за договоры такие? Когда закрылась дверь, азеры уселись на шконке с оторопевшими лицами. Как так? Ничего не понимают. Тот, который поумнее, приятель или брат, в прострации смотрел перед собой. И первый начал объяснять, обращаясь к нам:

— Этот транзит называется. ПФРСИ у них. Мы здесь где-то на две недели, я узнал это ещё в «столыпине», потом Пермь. А вы куда? Кто-то, ухмыляясь, смотрит в сторону, кто-то сочувствует. Я спрашиваю: — А вы куда едете? — В каком плане? — спрашивает азер.

— Ёб твою... — Да никуда, — удивляется азер. — Мы здесь. Сюда приехали сидеть.

— Завтра вас отделят и поднимут в карантин, потом в зону, раз вы здесь сидите. Все смотрят на них как на полных идиотов. — И что, договорились с родными о десятке? Азеры кивают. — Да вы понимаете, — влезает молодой крепкий парень, — что завтра вас переведут в карантин, и десятка ваша просто так здесь капнет? А вас ещё на новом месте трясти начнут. — Как карантин?.. — азеры обалдело переглядываются.

А второй брат сидит рядом. Оба схватились за голову. Первый схватился за голову: — Я еле-еле упробил папу деньги прислать! Что делать, если я ему ещё завтра позвоню? Он нас пошлёт!

— Готовимся к отбою! — закричали на галере, и мы стали разворачивать матрасы, моментально забыв про трагедию азеров.

Развернув свой, я обнаружил внутри грязную, мокрую, нестерпимо воняющую аммиачными испражнениями подушку.

Лечь, опустить на неё голову, прижаться к ней кожей я мог бы, наверное, только под дулом пистолета. И, положив её под матрас, отыскав на нём более-менее сухой, чистый кусок, я прилёг. Несмотря на страшное неудобство и дикий нервяк, я вырубился почти мгновенно.

И, даже не успев увидеть внятный сон, услышал резкое: «Подъём!» — доносившееся с галеры. — «Готовимся к зарядке! Построились!»

Ничего не соображая, мы кое-как распределились по хате. Выстроились на зарядку. Отвратительнейшее утро. Самое мёртвое и беспросветное за последнее время. Сейчас я чётко ощущаю себя подопытным микроорганизмом в исследовательской лаборатории какого-нибудь американского триллера. Под непонятную музыку — гул, а не мелодию, доносящуюся с галеры, — мы выполняем немислимые упражнения, очередность которых кто-то указывает извне.

— Приготовились к бритью! — крик с галеры, и распахиваются двери хаты. Резко — тишина. Зарядка закончена.

— Пять минут на бритьё! — кричит козёл, и мы в панике перед таким ограничением хватаем станки, забегаем в хату. Рядом на стене висит ткань с кармашками, куда каждый из нас накануне положил станок.

Естественно, нет ни пены, ни геля, ни даже мыла мы не успеваем взять. Смочив водой пятнадцатидневную щетину, до слёз деру уже тупой бритвой жёсткие волосы и проклиная, что родился мужчиной. Парни мучаются не меньше моего, раздирая даже до крови лицо. Наконец пытка закончена, ополаскиваем лицо под тонюсенькой, чуть текущей из крана стружкой. «Это тоже у них, — думаю, — входит в систему пыток, продумано до мелочей».

— Приготовились к обходу! Разделись до пояса, построились! Сдаём станки. Раздаётся крик, и бегом вылетаем на галеру, кладя станки, и обратно. Только присели на шконки отдохнуть от неожиданной нервотрёпки, как вновь:

Разделись. Построились. Стоим. Трясёт от холода и страха. Обход проходит медленно, наша хата где-то посередине. Слышно, как в соседних отрететированно здороваются, затем — какие-то слова, двери закрываются. Наша очередь.

Выбежали на галеру. Перед нами — четверо ментов и одна медсестра, потому что врачом её назвать не могу. Полковник здоровается с нами. Гаркаем в ответ отрететированно.

Медсестра по очереди осматривает нас, заставляя повертеться перед ней. Наконец-то осмотр закончен. Мы в хате, одевшись, согреваемся, растирая себя. Ждём завтрак. От психоза и холода хочется есть.

Через полчаса полной тишины что-то гремит. Подойдя к двери, убеждаемся — это баланда едет. Мы почти не общаемся. Нет настроения. Все так унижены вчерашним, что это надо ещё пережить, свыкнуться с этим, оправдать как-то себя внутри, согласиться, и лишь потом возвращаться в реальность. Иначе ты сам для себя не понимаешь свой статус.

Через минут двадцать подъезжает с тачкой баландор. Не реагируя на наши вопросы и даже не смотря на нас, он накладывает кашу и наливает чай. Раздав всё это в наши протянутые руки, он захлопывает кормушку и уезжает. В тишине мы съедаем еду и, помыв посуду, отдаём обратно.

— К уборке приготовились! — орут козлы, и распахиваются хаты. После завтрака мы сидим и молча ждём чего-то. Тишина, ничего не происходит. Медленно погружаюсь в дремоту, стараюсь не залипать надолго. На галере начинается движение.

Выходим на галеру. По очереди нас выстраивают у стены. Козлы разбивают нас на группы. Тряпки, вёдра, щётки, крики — общее месиво. В начале галеры выстраивают меня и ещё двух парней. Принесено ведро с пеной. Всё выливается прямо на пол, и так раз десять. Вся галера — по колено в пене. С ужасом я смотрю себе под ноги и не понимаю, как вообще с этим справиться.

— Тряпки взяли! — командуют козлы. — Поехали!

— Быстрее, блядь, шлюхи выебанные! И, присев прямо в мыльную воду, мы начинаем собирать тряпками пену с водой, выжимаем в ведро.

— Вы что, пидоры, охуели?! Слышь, ты, пидор?! — спрашивает козёл убирающего рядом со мной парня. И мы, мокрые от пота и мыла, с дикой скоростью собираем пену, выжимаем. Собираем, выжимаем. Собираем, выжимаем. Но не видно конца-края этому потоку.

— Слышь, ты, шлюха! Надо отвечать — «пока нет». Понял? — парень кивает. — Пока ты не пидор. Пока! Быстрее давай! Тот с огромными от ужаса глазами отвечает: — Нет.

— Что ты завис?! — кричит мне над ухом козёл. — Шевели батоном, дьявол! Быстрее, шлюхи! Быстрее! Мы собираем, выжимаем. Пена не кончается, нет моральных сил. Ты не понимаешь, зачем это, что преследуется. Самое страшное — делать бессмысленную работу, да ещё и в страхе сделать плохо.

И мы собираем пену, и вот уже половина галеры каким-то немыслимым образом прошла. Хотя бы есть ощущение возможного окончания этой работы.

Как идиотская гримаса, в голове всплывают воспоминания: однажды мы на всю ночь забурились в бильярдную на Пестеля, где администратором работал мой однокурсник. И играли, пили, выходили на улицу, с кем-то ругались, чуть не подрались из-за девчонок...

Ну вот и всё, галера закончена. Дикий, бессмысленный — потому что такое количество пены необходимо для площади в разы больше — спринт закончен. Мы расходимся по хатам. Умываемся. Вновь сидим в полной тишине.

Матрасы мы сдали с утра, поэтому располагаемся на холодных железных прутьях. В тишине и спокойствии начинает рубить. Но это чревато. Никто из сокамерников меня не толкнёт. Если увидит козёл в кормушку — получу хорошо. Тут на галере что-то гремит. С удивлением переглядываемся. Обед. Уже? Так и есть. Незаметно пролетело время, и наступил обед.

После еды, выданной тем же всячески отворачивающимся баландором, ещё больше клонит в сон. Ни книжки, ни игры. Даже смеяться здесь запрещено. Мы слышим, как захохотали соседи, и козлы мгновенно ворвались, избили всю хату.

Время тянется нудно, бесконечно. Больше всего опустошает понимание: ни сегодня, ни в ближайшее время ничего приятного и хорошего не произойдёт. А будет лишь хуже и хуже. И вот это понимание приземляет, угнетая и придавливая, девальвирует твою личность.

Где-то около трёх часов мы собираемся на прогулку, и нам разрешают взять из баула сигареты. В тесной, маленькой локалке гулять и шататься невозможно. Ты в состоянии лишь, протискиваясь сквозь уже сколоченные группы, пройти её в поисках знакомых. Но мне искать некого. Сигареты у меня ещё есть. Я курю и дышу воздухом. За час стояния почти на одном месте успеваешь хорошо замёрзнуть, и возврат в камеру весьма даже желателен.

— Я, короче, припрятал, — говорит один парень, показывая пачку «Петра». Мы сидим, отогреваемся, ждём ужин. Вот и он. Съели. День прошёл. Да, до отбоя ещё несколько часов, но мы немного поотвыкли и начали общаться.

По здешним порядкам это преступление, ведь сигареты выдаются только на прогулку, с собой иметь нельзя. В хате — нервная эйфория. Сигареты надо спрятать, иначе всем нам пиздец. Наконец, с долгими стараниями находим отверстие над плафоном лампы, висящей посередине. Почему-то нам кажется, сюда козлы не сунутся.

— Ну что, покурим одну на всех? — спрашиваем хозяина сигарет, трясаясь от страха и от желания.

Мы начинаем разрабатывать план процесса. Он должен быть выверен до мельчайших подробностей, иначе, если козлы учуют запах, страшно представить, что будет. Так, у открытой форточки стоят двое. Один курит, судорожно наслаждаясь, второй ждёт, чтобы быстро перехватить сигарету после трёх затяжек коллеги. Один человек прикинул ухом к двери и слушает галеру. В хате его ничего не сбивает — все передвигаются на цыпочках и не разговаривают. Те, кто не участвуют в процессе, сидят не шелохнувшись. Ещё один человек стоит в глубине хаты на столе, на уровне форточки, и полотенцем гонит воздух, быстро, по потолку. Пятый стоит, нагнувшись у включённого на полную мощность крана-соски, и так же гонит воздух в воду —

вода хорошо поглощает запах, он гонит полотенцем, связанным «морковкой». Трое терпеливо ждут своей очереди, все меняются.

На всё про всё уходит от силы полторы минуты, и потом с ужесточением вся хата ещё минуты три машет полотенцами. Когда проходит пять минут с момента первой затяжки, в хате — свежайший воздух и ни малейшего намёка, что кто-то курил. Это своего рода победа. Мы довольны, что покурили, и довольны, что нам удалось обвести козлов.

Ну вот и отбой. Теперь по очереди вольтом надо спать. Мне хорошо — попался молодой, не противный парень, следящий за собой и не вонючий. Мы легли и, отвернувшись от ног, заснули на мокром от пота и влажности подвала (где он хранился) матрасе.

Следующее утро уже не удивляло. Мы привыкали. Зная, что нам ещё здесь тусоваться чуть меньше двух недель, старались свыкнуться с этой мыслью и на ощупь искали обоюдоинтересные темы для разговоров.

Если, допустим, в других условиях мы бы задавали прямые, острые, провокационные вопросы друг другу, без стеснения беря и, обнаружив слабую сторону собеседника, высмеивали и насмехались легко, без зазрения совести, — то в этой замкнутой, непредвиденной, одинаково для всех опасной атмосфере мы почему-то становились более внимательными и чуткими друг к другу.

По очереди сегодня дежурным был я. В мои функции входили уборка камеры и доклад при появлении ментов на проверку. Я репетировал, от страха прогоняя про себя немудрёную информацию: «Здравствуйте, гражданин начальник. В камере номер десять содержится девять осуждённых. Жалоб, предложений нет. Дежурный по камере — осуждённый такой-то». Почему — не знаю, но у меня постоянно менялись местами две злополучные цифры: 10 и 09. Я то говорил про себя правильно, то получалось, что в камере номер девять содержится десять осуждённых. Стоит ли говорить — на проверке я произнёс именно наоборот.

Я стоял и ждал. Сейчас вылетит мент... И первый жёсткий удар прилетел в голень. Меня перекосило под 45 градусов вправо. Второй, сочный — в поддых. Я задохнулся и сломался пополам.

Третий удар, ожидаемо, был в челюсть — голова разлетелась, вспыхнули искры. Козёл ничего не сказал вдобавок. Развернулся и вышел.

Я медленно опустился на шконку. Никто не высказал ни буквы поддержки. Разошлись по углам, разбегаясь от несчастья, как от проказы, — только бы самих не зацепило.

День начался. Постепенно страх отошёл. Время потекло в разных размышлениях, вернее, это были мечты. Вот освобожусь — сделаю то и то... Кто-то представлял детали, и так далее. После завтрака вновь проворачиваем комбинацию с сигаретами. Покулив, довольные собой, что не попались, рассаживаемся и вспоминаем весёлые истории. Как здесь говорится — размораживаемся.

— Внимание! Свежее мясо приехало! День идёт уже по накатанному. Знаем, чего ожидать. На прогулке мёрзнем и торопимся «домой». И здесь — новое. На галерее оживление, кто-то куда-то бежит, торопится. Прислушиваемся. Вдруг резко по ушам — крик:

— Отошли от глазков! Сели на шконки! — кричат они в хаты. И омерзительный хохот. Этап. Козлы идут по кормушкам.

Мы, чтобы не дрончить судьбу, быстро рассаживаемся по местам. Хлопнули наши двери, козлы прошли дальше. На галерее начинается хаос. Крики животных-садистов, наслаждающихся унижением и страхом вновь прибывших, и сдавленные одиночные крики не выдержавших «процедуры» подопытных.

— 131-я, 132-я — в сторону! — кричат козлы, и у меня холодеет спина, словно я среди этих несчастных нахожусь. — Сюда, сука, иди, мразь! Вот он, насильник! Любишь писечки?! — кричит козёл, и слышатся глухие удары и вскрики бедняги, попавшего в этот переплёт.

Кого-то бьют особенно сильно, и, видимо, в какой-то момент понимают — переборщили, вызывают врача.

Приёмка закончена. Мы сидим и молчим. Каждый из нас, я уверен, предполагает, что произошло. Мне сейчас почему-то кажется самое плохое — убили. Если учесть рассказы об обуховском ПФРСИ, не такое уж это и событие. И ещё — ты остаёшься жить с этим навсегда. Ты очевидец, но сделать ничего не в состоянии. Хоть тресни, часть вины проникает куда-то вглубь и остаётся навсегда, лишь ожидая своего часа — разрастись, задавить тебя.

До позднего вечера — сплошное дежавю, только в звуковом плане.

Всё, что происходило недавно с нами, происходит с новоприбывшими. И ты, чтобы отвлечься от этих криков и других звуков, повествующих о страхе — быстрых шагов, шуршания одежды и так далее, — представляешь всех за дверью единой безликой массой, лишённой индивидуальности и издающей звуки лишь по причине агонии нервных окончаний.

Этой ночью мне тяжело заснуть. Я переворачиваюсь, избегая вонючего мокрого матраса, но это невозможно. Бешусь, психую. Сна как не бывало. Что ещё уготовлено мне на этом коротком, но насыщенном пути? Не осталось до конца срока... Срок — год и два месяца. УДО подошло уже. Уйти же по нему можно лишь из зоны — такие негласные правила. Да и к тому же, в зоне на момент подачи заявления на УДО надо пробыть не меньше полугода. Типа, за эти полгода администрация узнает тебя и перевоспитает. Ахинея. Мне положено по закону. Я не косячу. Выпускайте! Нет же.

Каждая ветвь власти в нашей стране считает: раз она не обладает законотворческими полномочиями, то право на трактовку у неё точно никто не отнимет. И эта трактовка настолько широка, что в рамках этого представления возможны чуть ли не любые изменения. Ты в данной ситуации — меньше винтика. Из этой системы ты сможешь резонировать лишь при условии недешёвой общественной поддержки. Создать прецедент, огласку — говорить начнут, начнут бояться с тобой связываться. А так — сиди в жопе мира и будь рад, что ещё жив, ведь эти трупы с этими статьями — не редкость. Убили — и спишут на гнев, ненависть сокамерников. Ну послушайте, у всех же дети... Маленькие дети остались на свободе.

Переживают... А тут такая мразь. «Простите, ваша честь, его!» И какому-нибудь убийце представляется какая-нибудь скачуха — дают по статье 64-й меньше меньшего и почти ничего не добавляют к основному сроку. После твоей смерти, спустя какое-то время — как было с Чикатило, — поймают сделавшего это. Он признается, но уже никого этот факт волновать особенно не будет.

Так что, несмотря на мой небольшой срок и уже подошедшую возможность уйти пораньше, когда именно я смогу свалить — даже не могу предположить. Ведь ещё до зоны не доехал. Из-за постоянного напряжения, яркого дневного света и от отсутствия возможности хоть чем-то заняться у меня впечатление, что я нахожусь в каком-то лечебном carcere. Где лечение сопряжено с наказанием и наоборот. Непонятное, но отвратительное ощущение.

ПФРСИ — это помещение, которое внутри зоны выполняет функцию следственного изолятора. То есть, по логике, здесь не должно быть режима, здесь просто ожидают при передвижении к конечному пункту. Но почему-то УФСИН Северо-Запада — потому что не может это происходить без их ведома — решило сделать из этого своеобразный транзитный хаб. Мол, едешь мимо, всем на тебя насрать, никто не знает — колись на явки и готовься к зоне. Кроме явок, никакого практического смысла в таком концлагере нет. Нас будут бить две недели...

Хотя. Как же я мог забыть? Деньги! Ведь в этом хаосе отжимаются неплохие бабки.

И при постоянном потоке этапов (недели — два-три этапа), если в каждом есть такие, как осевший у нас на два дня азер, то оборот вполне приличный. Можно и самим козлам торчать, и ментов кормить.

Как ни странно, две недели проходят достаточно быстро, наступает день этапа. С утра мы нервничаем: поскорее бы. Непонятно почему, никакой конкретной информации об этапе

не было. Мы лишь знали со стопроцентной уверенностью: больше двух недель здесь никто не содержится. День как день. Ничего не происходит. Нас не готовят, никто ничего не говорит. Начинаются домыслы — может, не сегодня? Сидим, психуем. Еда не лезет.

— Собираем вещи, выходим из камеры! Время прогулки. Собираемся к выходу. Вдруг — крики на галерее.

Направляют нас в каптёрку, где лежат наши вещи. За несколько секунд собираем пакеты и становимся у выхода. По очереди открываются хаты, и кто-то куда-то бежит. Доходит до нас. — Вышли! — кричат козлы. — Побежали!

Даже не успеваю обрадоваться, ведь это означает только одно — мы уезжаем. Все нервы, эмоции уходят на поиск своих вещей. Наконец — вот мой баул. Кидаю туда мешочек, выбегаю на улицу.

Нам раздают сухое питание с великодушным: «Можете хоть три брать». Здесь уже менты, и мы понимаем — всё, закончено. Выдыхаем.

Быстро садимся в «столыпин». Едем в Пермь. Что там впереди — неизвестно, но всяко, думаю, повеселее, чем в этом долбаном ПФРСИ. Я снова встречаюсь со своими обидчиками, забытыми на эти две недели. Наблюдают, но молчат. Ну и хрен с вами.

Едем сутки. Постепенно эта поездка становится одним большим коматозом без начала и конца. Не в силах ни лечь, ни сесть нормально, я ненадолго отключаюсь и просыпаюсь, широко зевая от кислородного голодания. В вагоне так накурено, что закуривать уже бессмысленно.

Еле доползли. Какая остановка? Узнаём — Киров. Начинаются домыслы, слухи: как там, что там? Толком никто не знает.

Полчаса едем на автозаке. Встречают спокойные менты — не психуют, не кричат. Пока хорошо. По лестнице поднимаемся на шмон. Мы уже в тюрьме. Нас много, процесс очень долгий. Шмонают дотошно. Стоим толпой на высокой, грязной, тёмной лестнице. Справа — зарешеченный проход в большое помещение, где на пяти столах перебирают наши вещи менты. Дальше — длинный коридор, слева — закрытые камеры, в конце — какой-то проход вглубь к хатам.

Где-то около двух часов занимает шмон. Распределяют по хатам. Становится понятно — собраны два или три этапа вместе. Транзит. Потом будут раскидывать по региону.

В маленькой хате справа — лишь умывальник и один писсуар. Человек тридцать пять забито в буквальном смысле. Повезло зашедшим первыми и устроившимся на скамейках. Я заходил одним из последних и оказался посередине, в толпе стоящих у своих баулов людей. Мы не можем пошевелиться, чтобы не задеть соседа.

Сначала огрызались, потом поняли: все в одинаковом положении, никто не сделает ничего нарочно. Стали переминаться с ноги на ногу, передавая стаканы из продуктовых наборов стоящим рядом с умывальником, чтобы набрали воды попить.

Бессилие, соединяющееся с безграничной злостью. Выматывает, не даёт думать ни о чём другом, кроме как о том, когда это всё закончится. За окном темнеет. Мы стоим уже несколько часов, и точно уже никто не понимает, сколько именно. Чувство голода притупилось от дикой головной боли и отсутствия свежего воздуха. Мы садимся на пол по очереди, потому что одновременно все сесть не могут.

В восемь вечера открывается дверь камеры, и мы, словно пророков, встречаем ментов. Нас раскидывают по разным камерам, и мы оказываемся уже в хатах с розетками, где можем присесть. Завариваем чифир. Пьем, разминаем тело и курим, открыв форточку. Свежий воздух, чай после длительного перерыва, возможность свободно подвигаться и присесть, чтобы ноющие болью ноги расслабились, — счастье. Хрустим галетами, устроившись на местных шконках. Ждём.

Через час надоедает и это. Неужели нас на ночь здесь оставят? Лишь около одиннадцати нас вызывают всех вместе, отделив от параллельных этапов, и ведут куда-то по спускающимся и поднимающимся лестницам. Баня. Отлично, это значит — нас сейчас определяют по хатам.

Меня начинает колотить. Если я попаду с Лёхой и его корешем в хату, они всем расскажут сразу про мою статью — и тогда хрен его знает, что на этой пересылке может произойти. Под горячим душем, почти кипятком, я не могу согреться. Страх выедаёт меня изнутри, дёргаясь, извиваясь, он вылезает с кончиков пальцев, ушей и ноздрей. Отовсюду.

Помылись. Пришли на чистую галеру, разделённую локалками. В первой локалке оставляют несколько человек, остальные переходят в следующую. Во второй останется ещё часть, их закрывают в разные хаты. Лёха и его кореш со мной в остатке. Мне всё хуже. Но наконец вызывают Лёху и его друга и закрывают в отдельную хату. Вздыхаю с облегчением. С теми, с кем остался, можно не ожидать подставы. Они спокойные и флегматичные.

Входим в хату. Слева и справа у стен, в глубину — ряды сваренных двухъярусных топчанов. На вскидку, в хате человек десять.

Всех их не вижу - темно. Горит одна лампа-ночник. Встречают двое. Высокий мужик лет пятидесяти — серьёзный, спокойный, на вид благообразный (насколько вообще преступник может быть благообразным), и чуть пониже — молодой крепкий парень с открытым лицом и пытливыми глазами.

Начинаются расспросы: откуда, куда, что где слышно. И меня радует — люди правильные. Они не лезут с выяснениями, кто перед ними и за что сидит. Всё ли в порядке с прошлым — считается, порядочному человеку нечего стесняться и бояться, даже в моём случае. А если с тобой что-то не так, ты должен сам предупредить людей о своих косяках, чтобы они не выглядели потом дураками.

Если же ты не предупредил, вся ответственность лежит на тебе. Когда людей потом спросят, почему они, встретившись с этим человеком, ломали с ним хлеб, не спросили его и не указали ему место, они смогут ответить: «Мы ничего не знали». И тут действует волшебное правило — «по незнанке не катят».

Я почти всё время молчу. Деланно улыбаюсь, пью чай, делаю такой же беззаботный вид, как у моих коллег по этапу. В камере собрались в основном местные жители Кирова, ожидающие суда или каких-нибудь следственных действий. Расспрашивают про Питер, про лагерь — в общем, обычный пересылочный разговор.

Допив чай и сходяв наконец в туалет по-человечески, я ложусь на крайнюю нижнюю шконку справа. Разложив матрас, укрываюсь чистым одеялом, вытянув с наслаждением ноги. Лежу и слушаю разговоры за столом. Вдруг я подрываюсь и снимаю ненавистные, прилипающие, жгущие носки. Вот это кайф, ноги дышат. Я высовываю их из-под одеяла и тихонечко шевелю, отбивая один мне известный ритм. Эта привычка появилась у меня в двухтысячные, когда я переламывался с героина. Суставам не хватало кальция, крутило и реально ломало. Для того чтоб немного забыть о ноющем дискомфорте постоянно дергал пальцами ног, словно в такт песни. Героин ушёл – привычка осталась. Постепенно разговоры затихают, и я погружаюсь в сон.

Утро обычное. Тюремное. Чифир, каша на завтрак, валяемся на шконках. Парни общаются, я делаю вид, что сплю. На меня никто не обращает внимания. Отдыхаю.

Под вечер начинается движуха. Стучат из соседней хаты - местные эки просят чай, курить. Кировчане в замешательстве. Для нас это странно. На Лебедёвке и в других питерских тюрьмах может чего-то и нет, но дороги во всех их видах есть везде.

Если есть что передать в любую хату — ты сможешь. Порой соседям передавали в хату на другом этаже, расположенную в другом конце галеры. Но всё же передавали. А тут — прям какая-то Берлинская стена.

Местные говорят: менты безустали лазают под окнами с длинными палками и крючками, чтобы дотянуться до верхних этажей. Рвут дороги, а после взрывают хату. Если понимают, кто замутил — сажают в ШИЗО. Жесть. Чисто теоретически у нас такая же угроза, и у нас менты предупреждают: «Поймаем — накажем», — но прецедентов не было. Эти говорят: «А у нас было».

Сочувствуем. Но желание драйва, хоть какого-нибудь... Ведь нельзя же забывать, что большинство из нас, попавших в тюрьму, просто не умеет справляться со своими желаниями.

В соседней же хате сидят, видимо, первоходы, им вообще насрать. У них — романтика, тюрьма, противопоставление обществу. Плонув на осторожных кировчан, начинаем. Кричим соседям, чтоб делали длинную удочку, и то же самое мастерим сами.

Несколько газет скручиваем слоями в длинную трубку, промазываем листы мыльным густым раствором (лучше — клейстером из протёртого хлеба, но долго ждать, пока высохнет). Перематываем для крепости нитками по всей длине. На конце крепим, перемотав канатиком из распущенного носка, нагретую и согнутую крючком старую зубную щётку. Пока один делает удочки, другие, растянувшись на всю хату, крутят длинные канаты, способные дотянуться до соседей, довести бодяк и вернуться обратно.

Наконец всё готово. Отстукиваем. Кричим, что пускаем «парашют». У глазка камеры дежурит один из наших, слушает, что происходит на галерее. Это надо делать быстро, «парашюты» могут увидеть. К длинному канату привязываем нитку, на конце которой закреплён прозрачный полиэтиленовый пакет. Вытаскиваем его наружу и, поправляя удочкой, ловим ветер. Через минут пятнадцать стараний удаётся поймать порыв ветра, пакет устремляется налево, и мы чувствуем, как нитка натягивается. Соседи бешено стучат.

Они поймали пакет своим крючком и затянули верёвку к себе. Теперь осталось потихоньку, чтобы канат не зацепился за решку и её решётку, протащить дорогу по всей длине. Соседи отстучали — всё в порядке, канатик у них, можно привязывать и передавать бандяк.

Делаем из газеты цилиндр сантиметров пять в диаметре и набиваем его чаем, сигаретами. Завернув в целлофановый пакет, привязываем его в длину и отправляем. Еле-еле протискивается сквозь решку и уходит он к соседям. Через несколько минут в стену барабанят благодарные соседи, и мы затягиваем к себе канат, отвязываем его, привязываем нитку к краю решки, чтобы при осмотре менты не увидели.

В десять вечера розетки выключаются, а к нам только подняли прибывших ребят откуда-то из Выборгской области. Надо напоить чаем — всё-таки людская хата. Придётся разбирать выключатели и подсоединяться к проводам кипятильником. Паша Художник — весёлый наркоман, травящий постоянно байки из своей жизни, длинный, под два метра ростом, — согнувшись, нависает над выключателем, кипятит. Ему удобнее всех это делать. Кто-то на шухере, кто-то готовит чай.

Менты оказываются смышлёными и подбираются бесшумно. Открывать хату после отбоя они могут только по специальному разрешению ДПНК.

Поэтому быстро откидывается кормушка, и всаживается пол-лица милиционера, мгновенно спалившего Пашу за преступным занятием. Тот успевает отскочить, но кружка, кстати, уже с кипячёной водой, и кипятильник в руках.

— Кто? Я? — удивляется Паша. — Да вы что, я электричества боюсь, я не мог! — Фамилия? — спокойно спрашивает мент. — Чья? — улыбаясь редкозубой улыбкой, отвечает вопросом на вопрос Паша. — Ваша, — утвердительно кивает мент. — А зачем вам? — шутит Паша. — Будет составлен протокол об административном правонарушении. — А я здесь причём? — Чай кипятили, разобрал выключатель.

— Моя? Мент делает паузу, стараясь не расходиться: — В глазок всё было видно, так что нет смысла съезжать. Фамилия?

Упорство у Паши чисто наркоманское. Бабах! Мент хлопнул кормушкой. Мы веселимся. Однако местные нервничают: «Это не конец», — предполагают они. Мы хохочем. Чифир заварен, задача выполнена, люди встречены, а остальное — уже сопутствующие трудности, неизбежные.

— Моя! — продолжает Паша. Открывается кормушка, появляется другая физиономия, манящая Пашу, стоящего посреди хаты, пальцем. — Я? — удивляется Паша. — Фамилия ваша? — настаивает новая физиономия, не в пример предыдущей, откормленная, солидная.

Мы умираем со смеху.

— Если вы сейчас не представитесь, я открою хату, и взорвём её по-взрослому. -Даю минуту, — он захлопнул кормушку. Надо Пашу видеть — у него на лице написано: «Плывать я хотел на тебя, мудака».

— Ну и ладно, — улыбка у Паши не убирается. — Пусть составляет, мудила. Главное — мы заварились. Ребят встретили. Паша задумался. Мы молчим. Наконец кто-то из наших говорит: — Да хрен он откроет хату, — поддерживая Пашу. — Не-не, — влезает местный. — Этот может. ДПНК сидит уже несколько лет. Откроет — и всё в рот выебет.

— Васильев, — говорит Паша, опуская голову на уровень кормушки, — для этого ему приходится сломаться чуть ли не пополам. Открывается кормушка: — Ну? — спрашивает ДПНК.

— Да ладно, — подбадривает Паша. — Соседям бандаж закинули, ребят встретили. Голова кивает, закрывается кормушка. Мы пьём чифир в тишине. Всё-таки мы обломались, что не отстояли Пашу.

- Уаскресенье! День рождения, у тебя!..- Паша глумится над «Чай вдвоём».

Ладно, в конце концов, без потерь в тюрьме невозможно. Попили, покурили, легли спать.

Я просто умиротворён. Никто не копает, кто за что сидит. Не выпытывает ничего. Я абсолютно на тех же правах, что и остальные. И даже все мои земляки либо делают вид, либо забыли про мою «чёрную метку».

— Вот это скорость! — веселился Паша. — Только приехали — и уже дальше. Значит, скоро приедем. На следующий день Паше принесли расписаться бумаги за нарушение, а вечером нас всех назвали на этап.

Спать легли в лёгкой эйфории. Утром собрались. Лёгкий шмон на галере, на развёрнутых матрасах. По очереди спускаемся вниз. Стараюсь держаться в отдалении от Лёхи и его друга, но, вроде, они забыли о моём существовании. Я прекрасно знаю — в тюрьме всё это до поры до времени. Когда приспичит выместить на ком-то желчь, я, если попадусь под руку, буду одним из первых кандидатов на роль буфера.

Глава 10

Снова долгий, кропотливый шмон, но на отъезде он воспринимается уже не так грустно. Забираемся в автозак. На улице очень холодно. Стараемся быстрее спрятаться в глубине тёмной пустоты. Забивают плотно. Сидим почти друг на друге. Нога начинает затекать, немеет через пять минут езды. Мне не пошевелить её — со всех сторон сидят плотно люди. Справа, слева и спереди, прижимая меня своими коленями. Хорошо хоть ехать недолго.

— Я щас вам «Черёмуху» распылю! — кричит конвойный, учуяв запах, что кто-то закурил. Около девяти утра двинулись.

Реально дегенераты. Это я про эков. Знают прекрасно, что пострадают все. Ведь курить-то вряд ли уж так сильно хочется, но самовыразиться он хочет. Показать, что я в любую минуту пренебрегаю любыми правилами, навязанными ментами.

И никогда эта трусливая блядина не скажет: «Начальник, не обессудьте, это я. Остальные здесь ни при чём».

А чёрт... Мы загибаемся. Воздух словно перекрыли, дышать нечем, слёзы из глаз, паника. Доигрались, ублюдки. Распылили её всё-таки. С ненавистью все смотрят на виновника, но ему насрать.

— На выход! Наконец-то вокзал. Остановились. Сейчас начнут называть. Проходит минут 10–15. — Семёнов! — кричит конвойный. — Сергей Александрович, — отвечает хриплый голос.

— Васильев Анатолий Александрович! Слава Богу, пошла движуха.

— Обратно вас везём. Не влезли. Не берёт «столыпин». Выходят. Ещё пять фамилий... Я вижу, как выходит ненавистный провокатор Лёха, его кореш. Шестая фамилия, и... всё заканчивается. Дверь автозака закрывается, и мы слышим звук мотора. Что за ерунда? — Командир, в чём прикол?

Что за бред? Они не могут рассчитать количество, сколько могут принять на этот этап? Распиздяйство какое-то. Бред. Мы едем обратно в СИЗО. Блядь. Опять шмон. Опять эта бессрочная посиделка в ожидании расселения.

Так и происходит. Голодные, с раскалывающимися головами стоим на грязной тёмной лестнице в ожидании шмона. Три часа назад нас выворачивали целиком, отправляя, теперь с тупой скрупулёзностью обыскивают, принимая. Всё по инструкции. Обыск закончен, и вновь всех — в одну камеру. Нас чуть меньше, всё-таки кого-то забрали, но максимум, что мы теперь можем — разом сесть на пол, не мешая друг другу. В остальном же...

У меня урчит живот, я не успел сходить до этапа и боюсь катастрофы. Почти весь день креплюсь, но под вечер, объединившись с ещё одними желающими, мы колотим в двери, требуем, чтобы вывели пострать. После долгих уговоров нам удаётся сломить то ли нежелание, то ли упрямство ментов. Но то, что происходит дальше, совсем не облегчает, наоборот. Даже сложно объяснить, просто пишу.

Мы идём по коридору и справа проходим в огромный кафельный зал, который выполняет эту функцию, но назвать его туалетом нельзя — отсутствуют элементарно краны с водой да и вообще сама вода. По всему периметру выстроены из кирпичей и облицованы плиткой длинные, цельные писсуары, куда кто-то мочился, судя по запаху, и срал. Везде, по всей длине лежит в разных своих ипостасях несмытое, цинично оставленное говно. Говно в поносе, говно в твёрдых какашках, говно чёрное, говно светлое.

Мне становится плохо от вида и от запаха. Более нечеловеческого, свинского отношения даже представить нельзя. Фашисты, наверно, так издевались. Тут, в такие моменты, понимаешь: эта система не нацелена на исправление. Вся до мельчайших винтиков своих она рассчитана на подавление воли, унижение страхом.

Мои сокамерники садятся на корточки на бордюр гигантского писсуара и спокойно опорожняют желудки, не стесняясь ни своего положения — наверху они, друг у друга на виду, с падающим говном и отвисшими яйцами. Завидую им, что их может смутить — сложно представить. Я дожидаюсь, когда остаются пара человек, видимо, таких же стеснительных, как я, и, присев в хорошем отдалении друг от друга, чуть не плюясь от подступающей тошноты, еле-еле (я вижу, парням тоже нелёгко) избавляемся от лишнего.

Ни о какой бутылке я не мечтаю... По первому сроку я привык подмываться, и с неприятным ощущением грязной задницы я застёгиваюсь. Возвращаемся обратно в камеру. Менты с каменными лицами выполняют повседневную работу и похожи на тупые, равнодушные механизмы. Наверное, так и должны работать в такой системе. Только такие выживают.

Сидим дальше. Схема такая же. Сначала раскидывают в отдельные хаты. Потом — баня и расселение ближе к двенадцати ночи. Теперь попадаем в другую хату, где много молодёжи, не в меру активной и любопытной. Чтобы избежать ненужных вопросов, я делаю вид, что сплю почти весь следующий день. У одного пытливого юноши появляется любопытство: что это я не общаюсь ни с кем, кого это я из себя строю? Задаёт он риторические вопросы моим землякам, которые ничего не стесняются и всю общаются. Земляки, думаю, понимают меня, и — надо отдать им должное — просто уводят разговор в другую сторону.

Но я не успокаиваюсь. Когда обо мне забывают, всё это воскреснет рано или поздно в разговоре или в споре.

Этим убоюдкам, с детства сидящим, своеобразный кайф — скрести, выкорчёвывать и выставлять напоказ души других, своеобразное самоутверждение. Обедаем, ужинаем... Я слегаю со шконки только для того, чтобы взять баланду. То и дело ловлю косые взгляды и стараюсь не показывать страх. Хотя холодный пот подползает по позвоночнику в трусы.

Около двух ночи оказывается — мы вновь на этапе с утра. Уже не спится. Радует, что от этих малолеток дотошных свалю. Они играют в тюрьму, и им интересно всё делать по-правильному, по понятиям, и так далее.

— «Столыпин» уже приехал. Щас должны прийти покупатели, — кричит конвой. С утра собираемся, и вновь — шмон, потом автозак. От психоза и недосыпания, когда мороз усиливается, трясёт и колбасит. Садимся, едем. Наконец-то. Позавчерашний возврат забрал много сил, и уже сильно не терпится уехать в тёплый «столыпин», хоть куда-нибудь. Подъехали к станции. Ждём. Полчаса прошло.

Двинулись. Наконец-то. Я сижу в самом начале у решётки, пытаюсь хоть что-нибудь увидеть, рассмотреть сквозь толстое, покрытое инеем маленькое окошко в двери, через которую нас выпускают.

На мне стоят две чужих сумки, полностью меня обездвигивающие. Вновь ноги страшно затекли. Сначала покалывало, и было больно ими шевелить, но через некоторое время я перестал их чувствовать, чем остался доволен и забыл о них.

Вдруг открылась дверь. Пошла движуха. Господи, есть справедливость! Еще несколько фамилий... Из двух секций автозака остается еще человек десять. Повисает пауза. Что... что опять-то такое? Заводят мотор. Твою мать! Злости и недоумению не имеет предела.

— Это, парни, не к нам. — Командир, в чём приколы опять?! — Обратно вас везем. В чём приколы — не влезли вы. — Да сколько можно?!

Все вокруг, и я в том числе, матерят весь грёбаный ФСИН с его наплевательским отношением к нам. Подъезжаем к тюрьме, непонятно почему останавливаемся. Конвойные с каменными лицами сидят как ни в чём не бывало.

— Что такое? — потеряв и без того расшатанное терпение, спрашиваем. — Почему стоим?

— До девяти, может, дольше. Февральский мороз прожигает направленно и безжалостно. Руки немеют, и пальцы болят. — Пересменка, — равнодушно отвечает мент. — И сколько она продлится?

— Мы околеем и сдохнем здесь! Сейчас, по нашим сведениям, чуть больше восьми. Час сидеть точно.

Ни на секунду не отпускающий холод... Беспомощность. Она не покидает тебя никогда здесь. Лишь немного видоизменяется, слабеет, растёт, меняет причину, но смысл одинаков — от тебя ничего, блядь, не зависит!

— Можете курить, но только тогда я дверь открою, — со смешком говорит конвойный. Он чётко замотан, и ему наплевать. — Командир, покурим? — кто-то нетерпеливый начинает кланчить, не рискуя курить без спроса.

— Парни, в натуре, охренеем сейчас, — подключается ещё один разумный, но его никто не слушает, двое достают сигареты. Меня трясёт от одной мысли, что станет ещё холоднее, а весь сквозняк придёт точно на меня. — Мы охренеем здесь от холода! — неожиданно сам для себя говорю я и вижу, что проситель, не обращая на меня никакого внимания, прикуривает сигарету.

Спорить и вещевать бесполезно. Это для них, ублюдков, один из способов самовыражения — сделать кому-то что-то наперекор. Неважно против кого, но пойти поперёк. Конвойный весело кивает и открывает настежь дверь.

Я вижу деревья, покрытые сверкающим инеем, угол какого-то двухэтажного дома. И узкую, с утра утоптанную тропинку к нему. Скорее всего, это какое-то административное здание, принадлежащее тюрьме.

Дует лишь жёсткий, колющий февральский ветер, вырывающийся сквозь открытую дверь с циничной радостью позабавиться с так бессильно сжавшимися зэками. Я съёживаюсь, сжимаюсь, и совсем не радуется этот вольный пейзаж, который в другой бы ситуации я вылизывал бы глазами сколько угодно долго.

— Командир, может, прикроем? Проветрилось уже, — кто-то из курильщиков начал кланчить. Все, кто жаждал, покурили. Посидели пару минут и стали замерзать почище прежнего.

— Расходятся конвойные, начальник, согласен, не правы. Не подумавши сделали. Но не вели казнить, умрём в натуре! — подключается кто-то из разумных, отговаривавших до этого курильщиков. Конвойный посмотрел с улыбкой в нашу почти однородную для него массу (мы сидим в темноте, а у него горит лампа и яркий свет льётся с улицы): — Я же говорил: будете курить — открою дверь, — сказал он и отвернулся. — Блин, командир! — возмущается кто-то из недовольных бакланов. — Холодно очень, прикрой! — Мы вам что, шестёрки, что ли? — подключается высокий толстяк рядом, до этого не произносивший ни слова. — Открой-закрой... Покурили — подзавалили, ничего не перепутали?

— Рот закрыли! — вдруг взрывается молодой конвойный, и все понимают, что его отношение к нам — выражение позиции. Молодой конвойный продолжает смотреть без эмоций на улицу — то ли в ожидании более уничижительных вещей, то ли показывая, что ему всё равно. — Командир, прикрой, пожалуйста. Ведь реально холодно очень, — меня уже не трясёт, всё во мне сжалось и тихонько, равномерно болит. Невозможно найти положение тела, когда было бы легче.

— Нехуй курить было. Вас предупредили. Скажите спасибо корешам своим! — кричит кто-то. Он сам замёрзнет на хрен, вместе с ним сдохнем мы.

Все отворачиваются. Молчание. Не по понятиям «правильных» осуждённых обвинять в чём-то коллег, тем более по наводке ментов. Эти трое уёбков пользуются этим и бравируют напоказ. «Командир молодчик! Так держать, выслуживаешься за наш счёт! Круто!»

— Ну, это разве февраль?.. Вот помню, в 83-м — тогда да. Холодно было, сопли замерзали. А сейчас — ничего, успевают стечь, пальцы только не работают. Я б вытер, лучше...И вдруг из глубины подаёт голос молчун. Спокойным, обыденным тоном отмечает:

Пауза. Прижилось. Мы смеемся и не можем остановиться. Сам автор самодовольно улыбается, не в первый раз за этап он так профессионально снимает напряжение. Не знаю, как другие, конечно, никто этого не скажет, но я ему очень благодарен. Эта шутка, всплывая, вызывает улыбку — и уже чуть менее страшен мороз и безразличие ментов.

Дождались конца пересменки. Конвойный закрывает дверь, становимся в очередь из семи машин, подъехавших к воротам. Ага, так прям сразу и заехали!.. Сперва пропускаем двух перед нами, потом ещё двух выезжающих, и через полчаса въезжаем во двор тюрьмы.

Снова лестница. Шмон. Я уже не складываю всё аккуратно. Бесполезно, какой смысл? Покидал вещи в клетчатый баул и придерживаю его, чтобы не разорвался совсем от постоянных перетряхиваний.

Снова та же хата. Нас уже меньше. Поэтому сидим, по очереди общаемся. Хотя, впрочем, меня это не касается. Я словно прокажённый. Никто не предлагает мне посидеть, не обращается с вопросами, ничего не пытается рассказать. Но мне, пожалуй, лучше. Уже незаметно сползает за решёткой вечер. Нас опять ведут в баню и распределяют по хатам.

Теперь нам достаётся камера почти в самом начале галереи — небольшая, придавленная двумя сводами по бокам. Под левым стоят две шконки — одна напротив другой, а под вторым четыре выстроились в ряд. Парни, зашедшие со мной, мгновенно оценив ситуацию, распределяются по правой стороне. Мне ничего не остаётся, как упасть на одну из двух слева. Её расположение и форма напоминают операционный стол, стоящий посередине огромного кабинета. При условии, что предназначается он для подростков, а совсем не для взрослых людей.

Такое ощущение, что если я залезу на неё, при любом неосторожном движении — и свалюсь. Но вариантов никаких нет. Я положил матрас на неё. Мы попили чай, съели галеты с сахаром и стали постепенно готовиться ко сну. День вымотал донельзя.

— Заткнись, сука! Убью на хрен! Выёбывался сам, нехуй было!Вдруг на галерее сначала издалека, а потом всё ближе и ближе раздаётся шум. Словно кого-то валили, а он сопротивляется. Наконец, когда звуки стали совсем отчётливыми, мы услышали:

— Прекратите беспредел! Оставьте чела в покое!Мы не разобрали, в чём провинился человек. Кого били — уже лишь стонал и ничего внятного не говорил. Послушав минуту происходящее, молодой чеченец, молчаливый и спокойный, подошёл к двери и стал колотить в неё с криками:

— Что долбите-то? — миролюбиво спросила голова.На галерее воцарилась тишина. Через секунду хлопнула наша кормушка. Из неё торчала немного растрёпанная башка улыбающегося молодого мента.

— Командир, хватит беспредела. Мы что, глухие, что ли? Слышим прекрасно, как вы людей мучаете.Чеченец посмотрел на мента полными ненависти глазами, но сдержался и как можно спокойнее сказал:

— За идиотов нас держите? — оборвал чеченец.Голова сделала изумлённую гримасу: — Мы? Да вы не так поняли... Мы между собой прикалываемся! — врал голова.

— Посмотрите сами, никого нет, — голова убралась в сторону.— Мы что, не поймём, где приколы, а где по-настоящему чел страдает?!

— Что убрали? — весело спросила из оконца голова.Перед хатой на галерее стояли трое мрачных ментов, по лицам которых было очевидно, что ни до этого, ни после этого шутить и прикалываться они не собирались. — Понятно, — сказал чеченец. — Что, убрали уже?

Чеченец махнул рукой, развернулся и пошёл вглубь камеры. Кормушка закрылась. На галерее ещё пару минут продолжалась какая-то возня, и всё затихло. Мы так и не поняли, что

повлияло на них: то, что мы крикнули из хаты, или нет. Легли спать и отключились от этого происшествия, разбитые, раздолбанные бесконечными этапами.

На следующий день мы всё-таки уехали из Кирова и отправились в Пермь. Эта подвижка так нас воодушевила, что всю дорогу мы болтали без умолку, хохотали, словно все одновременно попали под какую-то скачку, амнистию или поправку. Боря, бандит из Гатчины, развлекал нас, как, впрочем, и всё время до этого, историями своей или чужой жизни.

Особенно мне почему-то запомнилась одна. Про мужичка, всю сознательную жизнь сидевшего — по жизни не блатного, но живущего по понятиям. Когда с ним пересёкся Боря, тот рассказывал, что никогда ни во что не вляпывался, с шерстью дел не имел, интриганов обходил, красным руки не подавал — в общем, жил правильно. И тут, на этой командировке, которая могла стать для него последней, когда ему предложили стать дневальным штаба со стопроцентным УДО, он неожиданно для себя согласился.

— С одной стороны, жил я правильно. Никто меня ни в чём упрекнуть не может. А с другой — мне на всё это насрать. Не жарко мне от этого и не холодно.

В его функции входила уборка помещений: подмести кабинеты руководства на одном этаже. Хозяин, Бор, начальник опера, начальник воспитательного отдела. Вскипятить чайник, если кто захочет, ну и так — по мелочи. То есть на старости лет он мало того что перекрасился, так ещё и шнырём сделался.

С уборкой было решено сразу. Когда заканчивался рабочий день, он доставал метлу и совок, ставил посередине коридора, демонстрируя, что ждёт только ухода начальства, чтобы приступить к уборке. Когда все уходили и хлопала дверь за последним, инвентарь убирался, уносился обратно в кладовку. Если же вдруг в течение рабочего дня кому-то из начальства требовался кипяток, и они, высунувшись в коридор, кричали:

- Анатолий! Чайник принеси!

Дед неизменно, не двигаясь с места, продолжал смотреть телевизор и прокуренным басом отвечал:

— Иду, иду.

Через пять минут просьба повторялась, и ответ видоизменялся в подобострастное:

— Сейчас, сейчас.

И так же, не двигаясь, он сидел, уткнувшись в телевизор.

Потеряв терпение, просящий в конце концов сам шёл за вожаком чайником — как ни странно, уже дымящимся к его приходу — и, отчитав беспечного старца, уходил.

Удалось продержаться старичку на тёплом месте месяц — слишком много ходатайств поступало от решающих вопросы. Он был нужен, сливая подслушанную у ментов информацию. Но его благополучно вернули в отряд.

Здесь проявилась вторая постоянная склонность всех так называемых понятий к двойным стандартам. Деду никто ничего не предъявлял. Жил и участвовал в делах на общем положении, и общались с ним как ни в чём не бывало. Несмотря на то что по понятиям он стал козлом, а после работы в штабе — именно им и был, — есть с одной посуды с ним нельзя было.

Мы от души хохотали над этой историей, стали вспоминать что-то менее забавное, но своё. Как всегда в тюрьме, перенесённые страдания и мучения ненадолго сплывали, и те, кто не общался до этого вовсе по каким-либо соображениям, сидели, хлопали друг друга по плечу и весело смеялись.

Подъезжали к Перми. В закрытое окно с третьей полки купе — я любовался материнским спокойствием полей, покрытых мягким чистым белым снегом, лесами — тёмными, огромными массивами, проезжающими на конвейере, мимо нас.

По выходу нас рассадили по автозакам, причём, как ни странно, по фамилиям. Мой автозак приехал в тюрьму. Кто-то, как я понял, сразу в зону. И, резко по контрасту с Кировом, я понял — мы в чёрной тюрьме. Грязь, обшарпанные стены, менты, равнодушно считающие нас.

Спускаемся в баню. Там горит пара ламп и работают четыре соска. Напор еле-еле, но всем весело. Тут же и курим, тут же кто-то пытается заварить. Потом нас разводят. И сейчас, в отличие от Кирова, вместе уже никуда не закидывают — везде по одиночке.

Меня останавливают, проведя ночными дворами между белыми, словно греческие мазанки, стенами корпусов тюрьмы. В конце коридора — на одну из галерей второго этажа. Открывается дверь, я захожу.

Небольшая камера. Вдоль поставлены в ряд четыре сдвоенные шконки, ещё одна пара стоит поперёк, в углу справа. Перед торцом шконок — большой стол, привинченный к полу, с двух сторон к нему приварены две скамьи. Слева, в углу, полки, где лежит хлеб, кружки и редкая еда.

На следующий день мы всё-таки уехали из Кирова и отправились в Пермь. Эта подвижка так нас воодушевила, что всю дорогу мы болтали без умолку, смеялись или хохотали, словно все коты попали в какую-то скачку, амнистию или поправки. Боря, бандит из Гатчины, развлекал нас, как и всё время до этого, историями своей или чужой жизни.

Особенно мне почему-то запомнилась одна. Про пожилого зека, всю сознательную жизнь сидевшего. По жизни не блатной, но живущий по понятию мужичок. Когда с ним пересёкся Боря, тот рассказывал, что никогда ни во что не вляпывался, с шерстью дел не имел, интриганов обходил, красным руки не подавал — в общем, жил правильно. И тут, на этой командировке, которая могла стать для него последней, когда ему предложили стать дневальным штаба со стопроцентным УДО, он неожиданно сам для себя согласился.

«С одной стороны — жил я правильно. Никто меня ни в чём упрекнуть не может. А с другой — мне на всё это насрать. Не жарко мне от этого и не холодно».

В его функции входила уборка помещений: подмести кабинеты руководства на одном этаже — хозяин, бор, начальник опера, начальник воспитательного отдела. Вскипятить чайник, если кто захочет, ну и так по мелочи. То есть на старости лет он мало того что перекрасился, так ещё и шнырём сделался.

С уборкой было решено сразу. Когда заканчивался рабочий день, он доставал метлу и совок, ставил посередине коридора, демонстрируя, что ждёт только ухода начальства, чтобы приступить к уборке. Когда все уходили и хлопала дверь за последним, инвентарь убирался, и он носился обратно в кладовку.

Когда же вдруг в течение рабочего дня кому-то из начальства требовался кипяток, и они, заткнувшись в коридор, кричали: «Анатолий! Чайник принеси!» — дед неизменно, громко, с места, прокуренным басом отвечал: «Иду, иду!» — и, не двигаясь, продолжал смотреть телевизор. Через пять минут просьба повторялась, и ответ видоизменялся в подобострастное: «Сейчас, сейчас». И так же, не двигаясь, он сидел, уткнувшись в телевизор. Потеряв терпение, просящий в конце концов сам шёл за вожделенным чайником — как ни странно, уже дымящимся к его приходу — и, отчитав беспечного старца, уходил.

Удалось продержаться старичку на тёплом месте месяц. Слишком много ходатайств поступало от решающих вопросы — он был нужен, сливая подслушанную ментовскую информацию. Его благополучно вернули в отряд.

Здесь проявилась вторая постоянная склонность всех так называемых понятий — к двойным стандартам. Деду никто ничего не предъявлял. Жил и участвовал в делах на общем положении, и общались с ним как ни в чём не бывало. Несмотря на то что по понятиям он стал козлом, а после работы в штабе — именно им и был, — пить с одной посуды нельзя было. Но от души хохотали над этой историей, вспоминали что-то менее забавное, но своё.

Как всегда в тюрьме, перенесённые страдания и мучения ненадолго сплывали, и те, кто не общался до этого вовсе по каким-либо соображениям, сидели, хлопали друг друга по плечу и весело смеялись.

Наконец мы подъехали к Перми. В приоткрытое окно с третьей полки купе я любовался просторами полей, покрытыми мягким чистым белым снегом, лесами — тёмными, огромными массивами, проезжающими, как на конвейере, мимо нас.

По выходу нас рассадили по автозакам, причём, как ни странно, по фамилиям. Мой автозак приехал в тюрьму, и, увидев резку по контракту с Кировым, я понял — мы в чёрной тюрьме. Грязь, обшарпанные стены, менты, равнодушно считающие нас.

Спускаемся в баню. Там горит пара ламп и работают четыре соска. Напор еле-еле, но всем весело. Тут же и курим, тут же кто-то пытается заварить. Потом нас разводят по тюрьме. И сейчас, в отличие от Кирова, вместе уже никуда не закидывают — везде по одиночке.

Меня останавливают, проведя ночными дворами между белыми, словно измазанными, стенами корпусов тюрьмы. В конце коридора — на одну из голов второго этажа. Открывается дверь, я захожу. Небольшая камера. Вдоль поставлены в ряд четыре сдвоенные шконки, ещё одна пара стоит поперёк, в углу справа. Перед торцом шконок — большой стол, привинченный к полу, с двух сторон к нему приварены две скамьи. Слева, в углу, полки, где лежит хлеб, кружки и редкая еда.

На шконках — по два, по три сложенные чёрные бесформенные, часто перетряхиваемые матрасы. Мне кивают, показывая на свободную. И, как всегда, начинается медленная проверка. Я знаю уже, чем всё закончится, и нарочито серьёзно погружаюсь в заправку постели.

— Сам откуда?

— С Питера.

— Откуда едете?

— С Лебёдки, через Обухово, Киров, к вам.

Трясу неподдающийся матрас: с одной стороны комки перемещаются, переезжают в середину и дальше. Ну давай, инквизитор, подгребай к финалу.

— Много этап?

— Было человек тридцать, сейчас половина осталась.

— Долго едете?

— Недели две уже.

— На Обухово пиздец?

--- Полный. Козлы лютуют. Под крышей мусоров убивают всех вновь прибывших, издеваются, явки выбивают.

— Вам сильно досталось?

— Ощутимо. Сильнее убивают тех, у кого есть что-то. Если изначально говоришь «нету ничего» — особенно не трогают.

Давай-давай, задавай, сука, сакраментальный вопрос. Я не могу уже.

— На централье-то как?

— На Лебёдке? Да там всё отлично. Всё есть. Запрет... гуляет связь.

— У нас тоже есть. Надо только смотрящему отписать. За что сам-то попал?

В горле пересохло, вся кожа покрылась мурашками.

— 135-ая.

Без комментариев. Тишина в хате. Все смотрят на меня. Я словно герой телешоу на сцене перед зрителями. Тот, с кем я беседую, выдерживает паузу, изучает что-то на столе и спрашивает:

— Это что?

— Развратные действия, — односложно отвечаю я и искренне жду вердикта, который не замедлил вынести.

— Это что-то с малолеткой? — голос из глубины хаты.

--- Да, — начинаю тараторить, выплёскивая по-быстрому всю фабулу с элементом отстранённого оправдания.

---Девочку десяти лет кто-то схватил в парадной за задницу, убежал. Меня поймали спустя двадцать минут. Бухого в говно. Я якобы в такой же куртке был.

Молчание. Переваривают. Решают, насколько я мразь. Надо ли сразу с меня получать или стоит повременить. Самое забавное — по всем понятиям, знай я их тогда, в транзите, по этапу никто не имеет права предъявлять ничего. Это возможно только в зоне и то после серьёзного разбирательства. Но здесь сидят первоходы, боящиеся что-то сделать неправильно, готовые лучше перестараться, чем что-то упустить.

— А документы-то есть? — спрашивает молодой, ведущий со мной диалог.

Я достаю приговор, лежащий специально ближе к молнии, и передаю ему. Подсказывают ещё двое любопытных, и все вместе изучают бумажки, бесчисленное количество раз потроганные, перечитанные. Прочитав половину, молодой поднимает на меня глаза и после короткой паузы /Для кого ты, мудила, этот спектакль разыгрываешь?/ швыряет с барского плеча.

— Кидай матрас пока туда.

Показывает мне на пустую верхнюю шконку посередине и углубляется дальше в мои обвинения. Я расправляю неподдающиеся ровной укладке матрас — кое-как, потому что руки трясутся и не слушаются — заправляю простыню, стелю одеяло, одеваю наволочку.

— Понятно, короче, — протягивает мне приговор и отворачивается — Сейчас отпишем смотрящему, пусть он решает, что с тобой делать.

«Смотрящий» меня подкидывает. Я потерян, словно земное притяжение исчезло и от этого стягивает желудок. Да что ж такое... Обращение к смотрящему будет идти хрен знает сколько туда-обратно. Всё это время я буду находиться в этом, так прекрасно мною физически ощущаемом, подвешенном состоянии.

Молодой, ещё с одним бурым лицом, кренделем пишет маляву. Отправляют по дороге, через решку. Сколько ждать — я не знаю. Поэтому ложусь и прячусь, закрыв глаза. Мне, естественно, не заснуть, но хотя бы немного расслабляюсь. Внезапно накрывает лёгкая дремота, и я теряюсь.

— Ты чё? — звучит громкий вопрос.

Я прихожу в сознание. Открываю глаза. Молодой читает маляву. Поднимает на меня взгляд и пару секунд не моргая смотрит мне в глаза. Я не отворачиваюсь. Он возвращается в бумагу.

— Про тебя, в том числе, — объясняет он мне содержание малявы.

— И что там? — еле-еле, с висящими голосовыми связками, спрашиваю.

— «Пусть своих ищет», — глубокомысленно отвечает молодой.

Я не понимаю. Несмотря на то что сижу не первый срок, всё равно не понимаю жаргон, понятия. Лишь много позднее я понял: тюрьма — мастерская каламбура. Нет ничего постоянного. Все отношения, позиции, ценности постоянно меняются, и тем более — их вербальное выражение. Не стоит принимать близко к сердцу оскорбления или попытки унижить от зеков. Часто они так защищаются сами. В ответ перевернут твои слова на 180°.

— Что это значит? / Значит, он сам, уёбок, не знает, как это развернуть./

--- Значит — ищи таких же и живи с ними.

Хорошо, но мне нужна конкретика. Ваши образные понятия мне не ясны.

---И как это? В чём это выражается?

— Короче. - Он сам уже не рад, что взвалил на себя ответственность за решение. Осознаёт - речь идёт о судьбе человека. Имеешь ли ты право, шваль, на такие решения?

---Ложись, отдыхай. В зоне там всё прояснить будешь.

Так какого, спрашивается, сука, ты голову глумишь?.. Плюхаюсь на шконку и проваливаюсь, расслабившись, в матрас.

Утром, хорошо выспавшийся, отдохнувший, я не чувствую никакого напряжения в отношениях и успокаиваюсь. Мне предлагают стоять на дороге — моя шконка как раз упирается в

решку, в том самом месте, где сверху вниз спускается конь. Ночью загоняли телефон, но так как мне звонить в такое время некому, я не прошу будить меня в следующий раз.

Проверка, в отличие от Кирова, где мы выходили, строились, нас считали, здесь — просто по приходу милиции: надо приподняться на шконке, чтобы могли всех пересчитать. Вчера было несколько этапов — мой, из Москвы, ещё откуда-то. В камере много новичков, поэтому на проверке появляется опер, похожий на колхозника-Собакевича: квадратная голова, усталые глаза, мощные руки.

— Я, значит, оперативник, — начал он средним спокойным басом.

— Если что-то серьёзное — пожалуйста. Но со всякой хуйнёй: этот — т о, тот — то-то, там — ту-ту!.. — ко мне бегать не надо.

И, выдержав паузу, ушёл.

Это чёрная тюрьма. Колоритная. В Питере я такого не видел.

Моё внимание привлёк непонятный шум. Это были голоса — голоса из нашей сегодняшней реальности, не радио, но звучали они так странно, словно проходили через какой-то звуковой фильтр. Нагнувшись в левом углу, я увидел огромную, диаметром где-то до двадцати сантиметров, дыру, ведущую в соседнюю хату. Это была кобура — к малолеткам, сидящим за стенкой. Через неё передавали бандажи в другие хаты, малявы по тюрьме, просто подкармливали мелких, общались, узнавали новости.

Принесли обед. Удивили страшные фиолетовые овощи, нарезанные для любителей больших кусков, и большие лохмотья курицы, буквально вываливающиеся из шлемки. На мясо я накинулся с удовольствием и сожрал две порции — некоторые уже успели пресытиться подобной диетой. Почти каждый день здесь давали одно и то же. За режимную расслабуху платишь бытовой неустроенностью всегда.

Две недели я провёл довольно тихо и спокойно. Можно сказать — почти в дружеской компании. Появляющиеся транзитники интересовались — я отвечал. Реакция была ровной, спокойной, словно это дело обычное. Один меня удивил, озвучив своё отношение к фабуле:

— Даже если это был ты. Два года за то, что ребёнка за задницу схватил... Хуйня какая-то.

Приближался день этапа на зону. Но я был в принципе спокоен: мне многое рассказали про 29-ю общего режима. Разместилась она в низине, в черте Перьми. По режиму там и козлы, и блатные рулят, но беспредела нет. Нервничаю от общего незнания, но страшной паники, как раньше, нет.

Днём нас всех снова собирают. Оказывается, весь этап был раскидан по всей тюрьме. Какие-то свои соображения у руководства. Почему так — не хочется даже анализировать. Тактики и стратегии этих двух лагерей — милиции и преступников — либо узко практичны, либо недальновидно глупы. Если одни считают других высокомерными, обречёнными властью, жадными, хитрыми животными. Так и другие видят в противниках лишь цинизм, жестокость, желание наживы, одну извилину.

Я со своей стороны, после — пишу всё это в 2019-м году, спустя десять лет — могу сказать с полной уверенностью: правы обе стороны. Это реальное дно. Причём состоящее как из нас, так и из них.

Спокойно, без нагнетания, нас грузят в автозаки и везут в зону. Прибыв в шлюз, по очереди выпрыгиваем из машины, как только зачитают наши фамилии. По процедуре спокойно подходим к менту, стоящему с делом, чтобы он сверился с фоткой и проверил данные. Затем по огороженной с двух сторон аллею тащимся в здание штаба, где на первом этаже принимают уже в хоз-быт плане. Выдают робу и бельё.

Здесь же неожиданно я сталкиваюсь с Борей, бандитом из Гатчины — ещё более похуевшим, большим и измождённым. У него затравленный взгляд, сочится страх и психоз.

— Ты что, Боря? — спрашиваю я в полголоса: ведь ещё непонятно, как здесь себя вести. Информация о зоне появилась противоречивая. — Куда тебя засунули? Мы же в тюрьме были, а ты?

Он отмахивается, но отвечает:

— На ПФРСИ засунули.

И, посмотрев пристально прямо мне в глаза, говорит:

— Я, Лёха, хочу освободиться по УДО.

Понимаю: эти две недели его прессовали и на что-то кололи. Причём не для проформы, а по заказу, с серьёзной целью. Боря сломлен. Ему очень тяжело от этого. Но иначе вести себя, видимо, уже невозможно. Такое часто практикуется в этой зацикленной системе: за человеком вдогонку отправляется заказ. Он бандит, много недоказанного. Получилось — не получилось — «оторвитесь, братцы, постарайтесь». Если не признать — то хотя бы обломать капитально. И постараются на совесть: провинциальная заслуживает доверие федерального центра. Может быть, когда-нибудь вытянут туда — вспомнит с благодарностью.

Я не встаю на защиту человека, совершившего много ужасного в своей жизни, но не могу оправдать и понять этот узаконенный негласными распоряжениями институт пыток. Какой закон? При оценке доказательств судья руководствуется критериями относимости, допустимости, правдоподобия и выносит решение на основании закона и совести — это цитата из УПК или УК, не помню. Когда я прочитал это, я похолодел. Любое решение судья может объяснить таким субъективным фактором, как её совесть. Зелёный свет любой трактовке, подогнанной под обстоятельства.

Если, допустим, какая-то экспертиза — ведь в серьёзных преступлениях экспертизы проводятся специалистами, запрограммированными алгоритмами, призванными доказать или опровергнуть мою вину — так вот, если эта экспертиза не соответствует общей концепции, её можно проигнорировать и сделать вид, что её проведение — пустая формальность, рудимент.

— На растяжку встал! — вдруг огорошил сзади меня громила с правильными, но слишком крупными чертами лица.

Я послушно растягиваюсь по стене.

Но, к удивлению, мент даже не коснулся меня. Просто подержал так, типа в напряжении, и сказал:

— Пошли. Забирай вещи и выйди наружу.

Друг за другом идём по петляющей, заворачивающей локалке — в карантин. Деревянное одноэтажное здание, две секции. И там, и там — шконки. В первой — огромный приваренный к полу стол, кто-то уже бежит заваривать. У меня нет ничего, я ни в одной из компаний, поэтому почти уверен — вряд ли попью чай. Но судьба благосклонна, и меня зовут в одну из групп. Пьём, базарим, приживаемся.

В сравнении с Обухово здесь, конечно, свобода и лафа. Проверка — и за ней уборка. Хочешь — гуляй во время уборки в локалке: здесь –20...–25. Хочешь — грейся в забитом до отказа предбаннике-раздевалке.

Наконец все обустройства закончены. Идём спать. Вырубаюсь мгновенно.

Следующий день более конструктивен. Начинаются разговоры об определении в отряды. Ходим по врачам, прислушиваемся. Цыгана Вову, ехавшего с нами, забирают в клуб — все слышали, что он поёт. Возвращается под вечер. Подбегаю с расспросами — всё-таки клуб это то, что мне близко. Он обещает сказать про меня, и через два дня меня дёргают к хозяину.

Выходим в зону и, повернув налево, заходим в штаб. Поднимаемся на третий этаж, подходим к двери начальника учреждения. Меня сопровождает дневальный из карантина. Он должен быть в курсе, почему меня вызвали. Дневальный штаба высокомерно учит меня, как надо представляться хозяину:

— Полностью шапку. Сдержанно. Без там всяких...

Захожу. За большим советским чиновничьим столом, на фоне российского флага и портрета президента, сидит, двухметровый здоровяк с широкими плечами и классическими усами Боярского. Кивает по моим данным и, уточнив, что я закончил, спрашивает:

— В клубе поработаешь?

— Можно, — спокойно соглашаюсь я.

Дядька располагает. Видна мужская самодостаточность.

— Хорошо. Из карантина будешь выходить туда. Давай. Если что — иди на приём. Всё решили.

Я благодарю, и меня забирают обратно. Начинаются козлиные расспросы. Отвечаю односложно — у меня теперь крыша на другом уровне.

На следующий день идём в клуб. Там меня знакомят с музыкальным коллективом колонии, выступающим на праздники. Питерский ударник-крепыш Олег, заводила-руководитель; басист Боря; сомнамбула-зомби Андрей; смазливый солист подпёздыш ударника тоже Олег — гитара; Сергей — сидящий по 132-й, поэтому не выделяющийся; и скромный Муха — звукооператор обиженный, Юра — второй солист, милый, улыбочивый.

Руководитель музыкального коллектива — старший нарядчик. Он подбирает, определяет, какие песни петь и в какой момент. Мне представляют этих чудесных людей как готовый материал. Труппа для постановок. Совершенно не представляя непреодолимые противоречия между лабухами и артистами. Лабухи считают себя неизмеримо выше артистов, чьё творчество держится на интуитивном и бессознательном. Тогда как у музыкантов в руках инструмент с вековой историей, технологией и системой профессиональных навыков по извлечению гармонии.

Вот почему собравшиеся смотрят на меня с презрительным недоверием.

— Играешь на чём-нибудь? — спрашивает Олег.

— Немного на фоно и гитаре, — отвечаю я.

Подхожу к пианино, стоящему, на сцене, открываю крышку и раскидываю аккорды, импровизируя мелодию.

- А на гитаре? - Олег недоволен тем, что я кое-как умею, и, не послать впрямую. Протягивает мне простую акустику.

- Аккордами мелодию поддержку, но не более, - изображаю какую-то песню и отдаю гитару.

Так что придётся, суки, вам со мной считаться.

- Мы тут репетируем. Делает серьёзный вид и подходит к ударной установке. Песни — свои, чужие. А за что закрыли-то? — словно мимоходом спрашивает он.

Внутренняя судорога сводит мой организм. И, как всегда, я пытаюсь отвечать спокойно, почти равнодушно:

— Сто тридцать пятая.

Начало «сто тридцать...» гарантирует мгновенный интерес. Все затаивают дыхание, как в кинотеатре, ждут продолжения. Развиваю, рассказываю вкратце фабулу. Замолкаю. Все смотрят в разные стороны.

— И что? — смотрит прямо Олег.

Прямо чувствую ненависть.

- Мужиком проплачивал.

Сука. Тварь. Тебе бы весь этот путь проплыть.

— Да.

Кроме этого короткого «да» ничего не приходит в голову. Мыслей ответов много, но страх, укоренившийся во мне — я изгой, отребье — мешает.

— Ладно. Будет там... концерт. Не знаю, что ты тут нам сделаешь.

Все отворачиваются, делают вид, что мгновенно погрузились в репетицию. Я в полной растерянности — что мне делать? Ведь как-то надо оправдывать возложенное доверие. Хотя какое, к чёрту, доверие. Это же зона. Я преступник. Кругом полная хуета. Мы просто проводим это время, стараясь дожить до конца срока.

Но ёбанное чувство ответственности... — всё равно чувствую себя почему-то должным что-то доказывать.

Приходя в карантин после первых дней в клубе, я отдыхаю, хотя днём ничего там не делаю. Клуб расположен у края зоны. За его стенами — периметр, колючка в несколько рядов. Зона расположена в низине, и у дверей клуба виден отвесный высокий холм, на самом верху которого видны деревянные дома. Склон холма покрыт кустарником и небольшими деревьями, что говорит о том, что он появился здесь не очень давно — несколько десятков лет. Скорее всего, искусственная насыпь из привезённой земли при строительных котлованах в Перми.

Рядом с клубом железная лестница поднимается под углом 45° наверх: сначала площадка и вход в художественную мастерскую, где уже вовсю что-то рисует Паша. Поднимается выше — заканчивается просторной библиотекой и чуть дальше — небольшим помещением под церковь.

Когда меня впервые сопровождают сюда, звучит предостережение:

— Старайся долго не смотреть на холм. Одному уже шизняк влепили. Мол, думал о побеге.

Мне было наплевать на этот холм, и он меня занимал не больше, чем сегодняшнее меню на обед, но после этого предостережения меня тянуло, влекло почти неодолимо — всматриваться, разглядывать холм во всех мелочах. Скопировать в память на вид пустующий домик, одиноко прячущийся на самой вершине в разросшихся кустах и деревьях.

За две недели я сдал кучу всяких анализов. Хотелось в зону. Устаканиться в отряде. Жить. Хотя и страшно — ведь ещё в отряде предстоит разговор.

Распределение. Меня определяют в седьмой. По слухам — это неплохо. Пятый и шестой наверху, седьмой находится отдельно. Там нет беспредела. В остальном лагере рулят блатные, и мне с моей статьёй там было бы тяжело. Хотя я это только предполагаю на основании добрых советчиков: «Да тебе лучше вообще в БМ! Да тебя ёбнут при первом кипише! Да ты не жилец».

Собрал баул, свернул матрас рулетом, перевязав одной из простыней. Выдаются: подушка, наволочка, одеяло, матрас, две простыни — на одной сплю, второй укрываюсь как пододеяльником. Иду через плац. Вокруг локалки отрядов. Три локалки выходят на длину плаца, четвёртая — с инвалидами и рабочими отрядами — на ширину.

Седьмой — на первом этаже. Я и Миша заходим.

Пожалуй несколько слов о нём. Колоритный персонаж. Здоровый крепкий мужик, чуть старше меня, но выше и значительно сильнее по виду. Пол-лица у него — вмятина до середины черепа. Чудом уцелел глаз, но выглядит это как усмешка Пикассо. Рассказывал: последствия автоаварии — влетел в газель, а там что-то торчало и прямо сквозь голову вошло.

Но мне больше нравится моя версия: увечье связано с его делюгой. Он получил десять лет за изнасилование — всё это написано на карточке. Но здесь какая-то лажа: санкция первой части — до шести лет. То есть ему либо всандалили несколько эпизодов, тогда могут сверху максимально возможного срока дать ещё три года, либо у него какая-то другая часть.

Ведёт себя Миша не в пример мне — более правильно с точки зрения психологии. При любом, даже самом прозрачном намёке на статью чуть не лезет в драку и постоянно всем рассказывает:

— Это подстава. Я перешёл дорогу начальнику ОБЭП в своём городе...

Не помню уже, в каком. И то, что он всё время клянётся, утверждая свою невиновность, меня почему-то убеждало как раз в обратном.

Он удивительно быстро сходился с людьми: хохотал, хлопал по-свойски по плечу, смеялся над чем-то и «кентовался» мгновенно.

В отряд он проходит первым. Барак — на первом этаже двухэтажного здания. Вход — направо, сразу же небольшой умывальник. Я вижу в открытую дверь грязные раковины. Прямо, в конце коридора — ряды шкафов, уходящие вдаль. Справа — две двери, слева — одна открыта.

Кидайте вещи, проходите. Чифирнём, — говорит высокий худой спокойный парень, показывая на вторую дверь справа, в которой вместо филёнки вставлено стекло. Миша, как более инициативный, заходит первым. Просачиваюсь за ним. Самое большое моё желание — исчезнуть. Кругом любопытные взгляды, тихие переговоры на ухо, кривые улыбки.

— Присаживайтесь за стол.

Он посередине, справа у стены. Максимум нормально могут присесть человека четыре, не больше. Миша садится к стене лицом, я — рядом. Вдоль стены постепенно растягиваются обитатели барака. Мы — шоу. Вновь прибывшие. А если учесть наши статьи — становится вдвойне интересно. Каждый даже не пытается спрятать интерес, смотрят почти в упор. Значит, про статьи, видимо, известно.

Меня начинает колотить.

Ну давайте, давайте, начинайте ваши ёбанные допросы. Оценивайте, судите, проклинайте, презирайте. Вы же всё это можете. У вас же есть такие полномочия. Я их лишён. Кто меня лишил и дал вам — неизвестно, но это аксиома.

— Здорово, парни.

Опа. Началось. Появился из-за спины других крепкий, то ли даг, то ли чех, лет тридцати. Миша тянет руку — тот пожимает её. Я вслед за ним протягиваю тоже. Он жмёт мою и, словно в недоумении, отходит к окну, повернувшись к нам.

— А у кого сто тридцать пятая?

Холодная волна с иголками опрокидывается на меня.

— У меня, — я не слышу своего голоса, но на лице стараюсь ничего не показывать.

— А какого хрена ты мне руки тянешь? А? — с ненавистью говорит Мото, так вроде он представился.

Я чувствую — уже мгновения отделяют меня от команды «фас». Эти у стенки готовы, им только дай знак.

Не, ребята, я тоже не зря около актёрскую специальность имею.

— А за мной нету ничего, — спокойно начинаю я. — Я в отказе изначально. Мне хотели дать десять лет по сто тридцать второй, но перебили на сто тридцать пятую, дали два. Всё очень просто.

Хоть меня никто не спрашивает, я сразу выкладываю всё.

— Десятилетнюю девочку какая-то мразь хватает за задницу и убегает. Через полчаса — куртка похожая — цепляют меня, абсолютно бухого, и пакуют.

— А опознание? — спрашивает кто-то сбоку.

Я не поворачиваюсь к нему. Отвечаю по ходу:

— Девочка с мамой и бабушкой сидели в коридоре отдела. А меня после допроса минут пятнадцать держали перед ними, якобы собирались куда-то везти. Девочка смотрела, запоминала. Во время же самого опознания следак с мамой ей помогали. Я даже в протоколе на это жалобу писал. Там отмечено.

Внятно стало получаться плохо. Устал. Молчание. Переваривают.

— Приговор есть? — спрашивает Мото, глядя мне в глаза.

Киваю. Разворачиваюсь назад, машу рукой в сторону коридора:

— Всё в бауле. Все документы.

— Ладно, — небольшая пауза. — Живи как считаешь нужным.

Мне немного непонятна эта фраза, но то, что не просят предоставить документы, — уже до хрена делов. Мне поверили. Трогать никто не будет. Дикая эйфория охватывает меня. Именно этого момента выяснения в зоне я ждал и боялся больше всего.

Выдыхаю.

Как обычно, в экспрессивной форме Миша рассказал свою историю. Уверенным тоном и демонстративным игнорированием, страшно вмятым назад глазом — такое ощущение неживым, механически уродующим его травму — он расположил к себе почти мгновенно.

Я не курил уже несколько дней: в карантине ни у кого не было, а в клубе публика собралась такая, к которой обращаться не было желания. Все мои запасы с тюрьмы закончились. Я с жадностью накинута на предложенный чифир — то есть всё выяснили за столом, меня можно допустить. Это необходимая обязательная процедура.

Спрятал в кармане пачку «Явы», кинутую каждому из нас. Мото представил высокого худого немногословного молодого парня как смотрящего за бараком — Коля Колючий.

Я выпил чай и, для приличия посидев пару минут, пошёл курить. В коридоре меня немедленно окружили загадочные земляки с просьбой:

— Покурим? Есть сигарета?

Второй вопрос был поменьше мере глупостью — а они прекрасно видели, мне только что дали. Ощущение избавления от страха перед возможной расправой — я же даже в теории не знал, что по понятиям могут со мной сделать — сделало меня добрым и щедрым.

Один из земляков, благополучно раскурив мою сигарету, упрекал, предупреждал меня:

— Ты аккуратнее будь. Не раздавай всё. Потом ты к ним обратишься — тебе ничего не дадут.

Я весело посмотрел на его желчное лицо.

Не знаю, с какими переживаниями я сидел полторы недели в карантине. Любой громкий звук, любое резкое движение, попавшее в твоё поле зрения, заставляет тебя сглатывать комком за комком.

Сейчас же я трепещущим, мокрым сердцем курю, смотрю на синее небо, ставшее для меня близким и умиротворяющим, а они — отстранённым и плоским. И вместе с этим — впереди спокойно обживаюсь. Я такой же, как все.

— Ничего страшного, — говорю я.

Собеседник смотрит на меня как на блаженного. Насрать.

— Ты откуда? — С центра.

Выкидываю хаба и заканчиваю не начавшийся разговор. На хрен ты нужен со своими распросами по стандартной схеме: «Ты откуда сам? Кого знаешь с района? Чем занимался?» и тому подобное.

— Лёха, иди сюда! — зовёт кто-то из барака.

Я, естественно, его не знаю.

— Что надо-то?

Неприятный осадок от страха поднимается изнутри.

— В проход, к Колючему подойди.

Голос миролюбивый, но я не люблю аудиенции у этих «сильных мира сего». Шнырь провожает меня к тому, кто сидит на постели — нам уже представили великана, Бус положенец в бараке, Коля Колючий. Рядом с ним Миша — уже вообще с непонятным выражением лица. Из-за его травмы невозможно понять, что у него на уме. Просто тупая уродливая маска на тебя смотрит — и всё.

Перед ним стоит полная кружка чая.

— Падай, — приветливо показывает мне великан.

Я сажусь.

— Погнали.

Коля отпивает два глотка и передает Мише. Меня и Мишу вроде размораживают. После того как я бухал со смотрящими, никто не может меня никуда загнать, определить и так далее. Естественно, только если я чего-нибудь не накосячу. Внимание ко мне все равно повышенное. Пока, по крайней мере.

Начинаю жить. Прошло почти полсрока. Впереди бесконечный год. Очень долго. Очень. Успокаиваюсь, приживаюсь, и просыпается дикий голод. В столовке кормят сносно, но мне катастрофически не хватает. Ташу с собой хлеб и тайком во время прогулок закидываюсь.

За столом нас сидит восемь человек. Ставится девятка, большая алюминиевая кастрюля, из нее торчит поварешка. Приносится чайник. Хлеб мы получаем на входе, в маленьком окошке из пекарни. Оптимально либо попасть за стол последним, чтобы накладывать и можно было чуть побольше себе положить, либо попасть за стол с каким-нибудь небедствующим, который ходит в столовую исключительно из-за отметки. Во время еды по графику в бараке находиться нельзя, будет нарушение. Тогда можно забрать его порцию. Съешь две каши, хлеб сэкономишь, днем точишь. Вот это хорошо.

Засыпаешь голодным. Не всегда можно есть ужин: перемешанные с костями рыбные остатки, части совершенно несъедобные, кислая капуста. Почти все идет свиньям. Вот свиньям хорошо. И просыпаешься голодным, думаешь о каше. Ненавидишь себя за эту чертову зависимость от желудка. Бесит. Он подчиняет тебя чувству голода целиком, выкидывая все остальное: мечты, размышления. Невозможно даже читать на голодный желудок.

Чай получается попить крайне редко. Я уже забыл чувство бодрости от крепкого купца. Очень редко меня приглашают попить двое земляков. Остальные сторонятся. В большей степени из-за моего намеренного отчуждения. Пермьяки живут достаточно обособленно, не кучкуются по землячеству. В лагере большая часть местных, но много и иногородних. Со всех концов России.

Прекрасная традиция: на день рождения те, у кого есть возможность, заваривают ведро чифира, вываливают конфеты и несколько пачек сигарет. Барак оживает в такие дни на час-полтора. Оживленный гул. Попили, что-то обсудили, покурили, посмеялись. Не так уж все и плохо.

Курить у меня тоже нет. Это вторая унижительная проблема. Проснувшись, ты перебираешь в голове всех, кто сейчас пойдет курить, и выглядываешь тех, к кому обращался совсем недавно. И из оставшихся отбираешь безнадежно отказывающихся, и остается пара-тройка человек, к которым надо попытаться подойти до выхода из барака, попросив оставить покурить. Иначе в парадной их встретят обитатели верхнего барака, еще более нищие, чем мы, и накинутся на беднягу группой.

Делюга осложняется временем суток. Человек только проснулся, и ему совсем не хочется вступать ни в какой диалог, ни тем более, выкуривая сладкую утреннюю сигарету, наблюдать рядом измученные попрошайничеством глаза страждущего. И, конечно, не всегда мне удастся поймать кого-то. Ведь не один я такой хитрый.

Незаметно, между делом, проходящего из умывальника человека, вытирающего лицо или спешащего в туалет, тормозишь:

- Андрюха, пойдешь курить - оставишь?

И проникновенно заглядываешь в глаза. Во взгляде надежда и спазм от унижения. Если покуришь с утра — вроде как день удастся. Если нет — обычный голод перемешивается с никотиновым и совсем забивает голову, тоскует.

Я хожу в клуб, но смысла от своего там пребывания не вижу совсем. Каждый день просиживаю, наблюдаю их глупые, бездарные репетиции. Это все от безысходности, но больше делать нечего. В клуб подтянули Мишу, у которого появилась вполне приличная Yamaha. Периодически лабухам подыгрывал. Порой Миша устраивает концерты в отряде для блатных. У него все хорошо.

Я спустя месяц успокоился, разморозился. Хожу в свободное время, думаю, по локалке. Мото со мной здороваётся, интересуется, как у меня дела, поддерживая мой дух и мое положение в отряде.

Режим лагеря оценить я не смогу. С одной стороны — блатные, смотрящий, даже в режиме на отряде обсуждение вопросов без козлов, сбор общего. С другой — и завхоз. У завхоза много полномочий, с ним советуются, оглядываются на мнение ментов, идут навстречу. И что-то уж совсем непонятное мне — блатные уходят по УДО.

Но в бараке хорошо. Утром, закинув завтрак, можно завалиться на заправленную кровать и спать до обеда, укрывшись фуфайкой. Только успевай спрыгнуть по крику «Внимание!». В пищежке плитка — жарь что хочешь, были бы продукты. Хочешь продать что-нибудь — пожалуйста, барыга слева за стеной. Забирайся по выломанным кирпичам и меняйся, продавай. У нас в отряде барыги нет, потому что он считается режимным, больше влияния ментов. Засунули меня сюда, скорее всего, из соображений безопасности. Хозяину нужны творческие в клубе.

В один из одинаковых никчемных дней, весна, но никакого одушевления нет, я решаю, что это последний — больше я в клуб не приду. Мы обедаем все вместе, и вечно меня задевающий красавчик вновь что-то пытается выяснить про мою делюгу. Доводит, доводит, и под конец выплевывает:

- Да это все понятно. Ты мразь. Вот что, - спокойно заканчивает он.

Я знаю, что в столовой висят камеры, да и драк я побаиваюсь — вдруг остальные накинутся. С наибольшим собранным достоинством парирую:

- Сам ты мразь. Отьебись от меня.

Провокатор делает вид, что ничего не слышал, продолжает есть. Но тут дело принимает веселый оборот, непонятно почему взрывается Миша:

- Я тут стараюсь, отбиваюсь от провокаций на эти сраные статьи, а ты гриву опустил и оскорбления хаваешь!

Орет он на всю столовую. Это очень удачный ход. Громкий, почти истеричный крик — еще у Диккенса это есть — наводит на размышления: человек, издающий его, прав, он борется за свои слова.

Я теряюсь, тихим голосом отвечаю:

- Да угомонись ты, идиот. Куда ты лезешь? Я разберусь сам.

- Так значит, он прав?! — исходит на говно Миша.

Вся столовая с интересом наблюдает. Разборки на людях нечастые, они не приветствуются. Хочешь разбить ебло кому-то — уединяйся или подкарауль без свидетелей.

- Ты мразь! — и я понимаю, что он делает. Он работает на палево.

Резко поднявшись над лавкой — Миша сидит напротив — он бьет меня наотмашь по голове, не причиняя боли, но заставляя дернуться назад и уронить скамейку.

Я на секунду растерялся. Упавшая скамейка, вероломное нападение. Мишу уже оттаскивают, с определенной улыбкой глядя на меня: "Мда, не боец".

- Заткнись ты, придурок, провокатор долбаный!

Миша шипит в робу, негодует, рвется продолжить бой, зная, что никто его не отпустит.

Я поправляю скамейку, извиняюсь зачем-то перед столовскими. Ну и идти мне надо туда же, куда увозят его. Пробуксовываю, давая возможность ему отойти на безопасное расстояние. Но иду за ним.

- Да я таких, как он, слизняков пачками душил, давил! Еще чего мне будет пиздеть! Мразь конченная!

Всему есть пределы. И даже несмотря на то, что мне не хочется с ним связываться, мужское достоинство зудит.

- Закрой голову, дьявол! Я тебе сам башку сейчас откручу! — кричу ему в спину.

Миша затыкается и со смехом машет в мою сторону: мол, видали какой. Еще и выпендривается.

Относительная тишина. Приходим в клуб. Тут начинается третья серия.

Миша фолит.

— Кто тебя родил? Воспитал-то такого?! Такая ты нечисть, противно просто! — кричит. Вертит башкой из стороны в сторону. Ищет поддержку зрителей.

Выводит меня из себя. Сраное поведение. Но в открытую драку он не полезет. Кричит надрывно. Для публики. Как кот в борьбе за территорию.

Я всё равно буксую. Всё осознаю, но буксую. Подбегаю. Вместо нормального хука — хватаю за руки. Мешаю ему драться. Вижу это. Одновременно кричу, ругаю его. Смешной финт. Нелепый. Вместе с тем продолжаю держать. Он не сопротивляется. Совершенно обмяк.

Нас растаскивают. Какими-то хитрыми измышлениями меня делают крайним.

— Пиздец тебе в бараке, — расходится Миша. — Лучше туда вообще не заходи. Похороню.

Рефлекс по инерции. При повышенных тонах предательски подбирается страх. Трезвый рассудок понимает: желей он меня реально размотать — здесь самое удобное место. Всё на его стороне. Лишних нет. Камер нет. В отряде в разы неудобнее. Там свидетелей масса. Тьма козлов, ожидающих любого конфликта, чтобы вынести ментам. Плюс блаткомитет, смотрящие за положением. Беспредел пресекают.

Понимаю. Но всё равно боюсь.

До вечера буду трястись. Буду проходить на негнущихся ногах мимо его шконки. Там постоянно куча народу. Сидят в гостях. Слушают игру на гитаре.

Впрочем... Проползал этот вечер. И туда, и сюда. Нарочно. У кого-то особенность — отдавать неизбежное. Я же напротив. Быстрее бы это произошло. Прошел мимо несколько раз. Хотя совершенно незачем было.

Сидит боец. Улыбается всем. Поет. Пьет чай.

Ну вот как бы и вся история. Зачем всё это было устраивать?

Лишь спустя пару месяцев мы с ним как ни в чём не бывало возобновили общение. «Как ни в чём не бывало» — а здесь у всех так. Какие варианты? Сидеть ещё нос к носу годы.

Пустые мои дни. Делать нечего. Ни с кем практически не общаюсь.

Самые светлые дневные моменты — книги. В библиотеке нашёл Фриша и Фолкнера. Утопаю в них. Либо погружаюсь в мечты. Наматываю ленточки в локалке по давно избранному пути: посередине, от забора до центра и обратно.

Шаг. Еще шаг.

Написал знакомому. Попросил помочь, выслать посылку. С ума схожу. Полгода без элементарных вещей — не выдержал.

А пока — жду. Приглашения от земляков на пару глотков чифира. Или ещё какого замечательного стечения обстоятельств.

Ни хуя по быту нету — следствие отсутствия режима в лагере. Всё болтается и шатается.

Огромная, грязная общая помывочная. Широкие гранитные скамейки. Старые четыре пары кранов. Каждую нашу помывку собирается очередь. Все хотят набрать воду.

Отстоял минут 5–7. Вся баня занимает почти час. Отряд моется партиями.

Набираешь таз. Сначала стираешь. Оставляешь чисто выжатые вещи в мешке. Потом моешься прямо в тазу. Сполоснул его, набираешь чистую воду. Долго намываешься. Трёшь себя мочалкой. Главное — не потратить всю воду раньше времени. Остатками поливаешь мочалку. Окатываешься с головы до ног. Идешь в безрадостную очередь под душ.

Наконец мероприятие закончено. Наша партия идет через плац в локалку. Забрасываем шмотки на натянутые верёвки. Там уже сушится бельё предыдущей партии. Надо умудриться. Найти себе пару метров под футболку, полотенце, трусы, носки.

Хорошие, новые вещи суши где-нибудь в бараке. Под контролем. Иначе с улицы рискуешь их больше не принести. Свистнут.

Остальные шесть дней ошиваешься так. Обливаешься в старых ржавых раковинах. Там же стираешь носки. Моешь ноги.

Если у тебя есть возможность — дай сигареты. В бане тебе постирают шмотки. Найдёшь хороший порошок — будет даже чисто. У меня таких возможностей нет. Да и появятся — на марафет точно не потрачу. Слишком сильно я изголодался.

А вот оказывается, у меня много друзей!

Обычно мой проходняк пустует. Завалится упавший зарик или кто-нибудь случайно подойдёт. Сегодня — заполнен под завязку. Очередь от дверей.

Я получил посылку.

Сначала идут наводящие вопросы: от кого, где живу, есть ли фотки. Затем рамки приличный отбрасываются. Друг на друге. Передо мной, согнувшись над мешком, стоят шесть человек. Высматривают. Выглядывают, чем поживиться.

— Братан, дай чаю. Ну децл, ну!

— Блядь, да разошлись вы уже!

Пропускают сокамерника с недовольными лицами. Этот человек трётся со смотрящим. Серьёзный.

Я просил побольше чая. Забыл уточнить, что мелколистового. Его лучше заваривать в чифир. Пришло три кило прекрасного для здешних мест крупнолистового. Еще сигареты, сахар, конфеты, сгущёнка, кофе, торт. Так, по мелочи.

Я в эйфории. Ситуацию не контролирую.

Очнулся — меня раздербанили более чем наполовину. Настойчиво убираю всё оставшееся в сторону. Обделённые расходятся с ненавистью. Разочарованы в своих надеждах.

Последним подходит шнырь завхоза.

— Лёха, дай тортика кусок, — говорит не просительно. Утвердительно.

Это меня злит. Охренели совсем.

— Нет возможности, — говорю ему прямо в глаза.

Пауза. Кивает, уходит.

Через полчаса меня переселяют. На шконку в глубину барака. Там темно и душно. Рядом со мной ночью, после отбоя, включается замечательная радиостанция — «Радио Болид» пермского производства.

После 22:00 начинается шоу. Ведущий позволяет себе пошлости. Уёбищно шутит. Упоминает чью-нибудь грудь.

Я в опале.

Половина посылки всё ещё под прицелом. Периодически заплывают охотники, стрелки — те, с кем раньше старался церемониться. Побаиваюсь. Уделяю внимание — ох уж эти идиомы здешней романтики — лишь приближенным блатным.

Но настроение выровнялось. Нет постоянного голодного психоза. Нервяка. Унизительного попрошайничества типа «оставь покурить». Когда хочу — завариваю себе чай. Поднимаю его. Благо мне и кипятильник зашёл. Листовой чай прекрасно заваривается. Моя кружечка стоит на определённом месте. Раз у меня что-то есть — я имею на это полное право.

Кроме этого я скинулся на общее. Хотя по понятиям не должен. Колючий меня выручал неоднократно.

Также, как и я, одиноко ходит по локалке светленький, с непропорционально большой головой земляк Саша. Из Беларуси. В последнее время окопался в Питере. Тихий. Спокойный. Меня он расположил к себе.

Получил два года по 111-й статье, часть вторая. Выстрелил в ногу из травмата приятелю. Нажрался, а тот собирался подраться с ним. Никто ему не помогает. Соответственно — у него ни хрена не было.

Я небольшого альтруизма человек. Но за разговоры по душам угощаю чаем. Оставляю покурить. Рассказываю о своих планах по организации мебельной фирмы. Он слушает. Соглашается. Даёт советы. Устраивает меня как приятель ещё и потому, что не кланчит. Довольствуется тем, что предложу сам.

Уютненько как-то стало.

Однажды помощник — тактичное название шныря завхоза — готовит рандолики. Жарит хлеб. Угощает нас с Саней. Я постоянно подогревал его: то чай дам, то сахар, то кофе.

Вдруг кипиш. Скорее всего — из-за неприязни завхоза ко мне. Тортик он помнил до самого освобождения.

Вопрос: откуда взялось масло для хлеба, который я ел?

Куча вопросов шнырю. Чьё масло? Откуда масло? Помощник теряется. Завхоз нажимает. И шнырь, спасая свою шкуру, кивает на Сашу. А Саша, недолго думая, заявляет, что это моё масло. Якобы мне его дал земляк со столовой.

Я ни сном ни духом. Интрига плетётся.

Прикалывается один молодой пермяк из приближенных к блатным. Одиночка, вечно кого-то высмеивающий.

— Что, Лёха, отблагодарил тебя землячок за хлеб-соль? — скалится.

Я в непонятке.

— Саша, кореш твой, — уточняет весельчак.

— Реально не понимаю тебя. Шутишь?

— Весь барак веселится, а ты не знаешь? Саша сказал, когда его к завхозу на ковёр вызвали. Будто ты крысишь со столовой масло и жаришь на нём хлеб.

Я застыл. Побежали мерзкие мурашки холодного пота.

Обвинение серьёзное. Как для красного лагеря — запрещено ПВРом обмен, продажа и так далее. Так и для чёрного. Ни под каким предлогом положняк брать нельзя. Тем более из столовой. Столовая, где все продукты поположняку — это общее. Если ты взял что-то — кому-то не досталось. Это крысятничество.

В голове сумбур. Человек, с которым я делился. Выделил его из основной массы. Для меня это непростое решение. На свободе-то с трудом схожусь с людьми, а здесь и подавно. И этот челок делает мне такую пакость. Причём изощрённо выдуманную. Подставляет ещё и моего земляка из столовой.

В бешенстве ищу Сашу по барaku. Нахожу. Шиплю, как гадюка:

— Пойдём в раздевалку.

Все конфликты, грозящие перейти в рукопашную, следует осуществлять именно там. Без свидетелей. Правило, конечно, не распространяется на блатных. Они могут уебать и в бараке, где угодно. Но только по делу. Супер основание.

Саша плетётся за мной. Пропускаю его вперёд. Закрываю дверь. Он стоит, опустив глаза. Мне становится его жалко. Даже бледные веснушки боятся.

— Ты что делаешь? Как ты мог-то? Объясни мне!

— Лёха, меня Рома — это шнырь завхоза — попросил... Ему бы влетело, если бы узнали. Масло было завхоза, а Рома нас угощал...

Саша смотрел в пол. Как провинившийся ребёнок.

Злость перевесила жалость. С возмущением хватаю за грудки.

— А меня не жаль?! Я что тебе плохого сделал?! Ты со мной хлеб ломаешь! Чаем, что есть, с тобой делюсь!

В голове появилось перечисление всех угощений. Меня закоротило.

— А ты мне такую подставу?!

Понурился. Именно это слово здесь подходит. Потому что вижу — эта гадина не особенно переживает. Стоит и молчит.

— Короче. Пройду УДО – ломись с отряда. Переломаю тебя на хер.

Я уверен — ничего, конечно, не будет. Но хотя бы так... напугаю.

Вечером из очереди за хлебом у столовой меня выдёргивает парень. Сытая, откормленная физиономия. Немного с презрением спрашивает:

— Ты такой-то?

Я киваю. Ноги предательски слабеют.

— Пойдём.

Как конченная овца плетусь за ним. Ничто не мешает мне сказать: «Иди на хуй». Но меня так забили за этот срок, что стараюсь избегать конфликтов с теми, кого не знаю. Хотя правильнее, конечно, игнорировать. Но хорошие мысли приходят слишком поздно.

Меня проводят слева через рабочий зал. Там чистят овощи. Зэки с любопытством смотрят на меня. Ещё налево. Белая, чистая дверь.

Сопровождающий открывает её. Пропускает меня вперёд. Уходит.

В комнате холодильники, полки с какими-то коробками. Тусклый свет.

Мне навстречу из-за стола, стоящего посередине, выплывает жирная свинья. Выше меня на голову.

— Закрой дверь. Кто у тебя земляк на кухне?

Мне не по себе. Но я тяну время. Пытаюсь понять, какой расклад возможен.

Не меняя интонации, свинья продолжает:

— Я тебя забью щас на хрен здесь. Мне ничего не будет.

Ноги отделяются. Но по лицу этот пидор об этом не догадается. Я молчу. Смотрю прямо ему в глаза.

— Кто у тебя земляк на кухне?

Знаю, что на нас ничего нет. И всё-таки — скорее всего, из страха — называю имя этого человека.

— Хорошо, — кивает свинья. — Как он тебе продукты передает?

Мне надоела вся эта хрень. И я соображаю как это всё вывернуть.

— Слушай. Давай позовём Сашу, от которого всё это пошло. Пусть он всё это щас повторит. Тогда я что-нибудь, может быть, объясню.

Свинья смотрит пристально. Кивает. Выходит в коридор.

— Слышь, позови этого Сашу из седьмого отряда. Который про этого... — он махнул в мою сторону. — Сказал там.

Ждём 10 минут.

Я успокоился. Мне даже весело. На таком уровне я в состоянии оценить ситуацию. Саша засыт. Расколется.

Входит «герой». Свинья кивает ему на дверь. Закрывает, нервничая за собой. Остаемся втроём.

— Ну и что? Расскажи-ка нам, как всё дело было.

Саша бледнеет. Краснеет.

— Парни, извините меня... Рома попросил напиздеть, — начинает «герой».

Свинья прерывает его. Поворачивается ко мне:

— Иди.

Поворачивается уже к Саше:

— И что же ты, сучка...

Это последнее, что я слышу. Со злорадным удовлетворением я покидаю столовку.

Незадолго до моего освобождения Саша в срочном порядке переводится в рабочий отряд. Исчезает в соседней локалке.

А я долго испытываю мучения совести. Ведь нехотя подставил своего земляка.

Несмотря на снятие обвинений, земляка только что подвинули по карьерной лестнице. Вернули на очистку овощей. Без реабилитации.

Я тоже ссыкло.

Сижу. Читаю «Ното Фабер». Зовут в штаб. Зачем — надо узнать. У меня там никаких дел нет. В клуб давно не хожу. С операми не работаю. Хрень какая-то.

Поднявшись на третий этаж, спрашиваю дневального, кто вызывал.

— С воспитательного отдела.

Стучу. Захожу.

Мне улыбается полностью седой, но крепкий, аккуратненький подполковник. Замполит колонии.

— Приедет комиссия. И нам надо ей показать представление. Какое-нибудь. На тему «осуждённые исправляются, работают». Ну, что-то в этом роде.

— Понятно. Полит-агитка.

Смеётся. Кивает.

— Ты какого года?

— Семьдесят четвёртого.

— Значит, помнишь, что это такое.

— Конечно.

--- Получится?

--- Сделаем. Напишу сценарий — посмотрите.

— Когда сможешь сделать?

Задумываюсь. Я уже больше десяти лет ничем подобным не занимался. Но ему знать это не обязательно. По легенде я — работающий режиссёр.

— Несколько дней надо, — неопределённо отвечаю я.

— Недели хватит?

— Хватит.

— Вот и хорошо. Приноси сценарий. Утвердим и за работу. Народ я тебе подберу.

Интересно мне знать, по каким критериям ты, сытый, всегда при власти офицер, будешь мне их отбирать.

Возвращаюсь в барак. Сразу же подбегают с вопросами. Любой поход в штаб наводит зёков на размышления — а не стукач ли ты.

— Из воспитательного отдела вызывали, — говорю. — Хотят, чтоб я праздник сделал. В клубе.

— Зачем?

— Там приезжает комиссия какая-то. Надо по общим их, блядь, показателям.

Кивают. Несильно, но поверили. Хотя, даже если не поверили, с моей статьёй куда хуже.

Остаюсь на улице. Начинаю сочинять. Жалко, нет чая. Выпить бы крепкого, чифирнуть, раскинуть фантазию.

Итак, что это будет? Сказка. Хохма. Королевство, царство-государство. Государство, нацеленное на исправление осуждённых. Исправный лагерь. О! Государство «Исправа»! Ебать, я - Солженицын!

Главный герой, конечно, Иван. Хочет исправиться. Вот и фабула.

Сама собой появилась песня из фильма «Генералы песчаных карьеров». И новые слова под неё.

Иван выходит. Поёт про свою грустную жизнь. Потом царь появляется. Начальник колонии, то есть. Что-то ему причёсывает про режим. Как за жили-были...

Тут моя буйная фантазия выдаёт фортель. Появляется Электрик. Чинит, носится, суется. Работает, другими словами. В полупантомиме рассказывает непутёвому Ивану о пользе труда. Оставляет его на испытания. Герой встречает засиженного, ушлого зэка. Пытается развести Ваню на вещи. Герой \молодец\ его отшивает. Победитель встречается с активом. Три веселых парня. Собираются исправляться. Вроде даже что-то поют.

В общем, за сутки наебенил сценарий с песнями.

Почитали. Покивали. Одобрили.

— Собирай народ, — говорят. — И начинай.

Пришёл в барак. В эйфории. Но нету удовлетворения. Халтура всё это сраная. По большому счёту — и копейки не стоит. А впрочем — хоть чем-то близким к специальности займусь. Разомнусь.

Собираю народ.

Удалось подтянуть одного барыгу, которому важно покровительство ментов. Двух козлов по протекции начальника воспитательной работы. Ещё одного пассажира. И как довесок — Саша.

Это отдельная песня. Он обиженный. Живёт отдельно. За всеми его передвижениями следят несколько определённых человек. И много энтузиастов.

Саша — это суровый преступник? Страшный мокрушник? Маньяк-педофил?

Нет. Всё очень просто. Саша — вольный гей. Он манерный, милый мальчик. Сидящий за кражу. Чисто девушка. По его словам, зарабатывал проституцией. Очень вероятно.

Его запихнули к нам на локалку из соображений безопасности. Козлы не позволяют себе никаких вольностей. А на блатном бараке может произойти всё что угодно. Начнут ебать все подряд. Разорвут несчастной Сашеньке всё её трогательное очко.

Теперь же она у меня будет актёрствовать.

Собрались в клубе. Познакомились.

Прочитал пьесу. Раздал скопированные роли. Сразу столкнулся с капризами творческих работников.

Завпромкой, исполняющий царя, захотел костюм. А Сашенька вообще отказалась. Зная не понаслышке типичные черты характера пидорасов, я подумал: девочка хочет, чтобы её уговаривали. Отложил разговор до следующего раза.

Разошлись учить текст. Дай бог, если пару раз прочитают. Но мне это не очень важно. Такой объём за две недели осилим. Тем более, по первому впечатлению ребята к творчеству способны. Не дураки. Да и ладно.

Несколько дней репетируем в комнате с непонятным назначением. Там ремонт и ковролин на полу. То ли она для психологической разгрузки, то ли для встречи с представителями других, исключая православную, религиозных конфессий.

Текст все выучили. Ножками мы всё прошли неоднократно. Артисты захотели на сцену.

А вот тут загвоздка. Музыканты, считающие себя старожилками, не желали уступать нам сцену. Мотивируя тем, что музыка всем понятна и интересна. А то, что мы собираемся предложить — непонятно. Да и вообще...

Со скандалом мы вырываем три дня в неделю. Окончательно став для музыкантов кровными врагами.

Хорошие отношения у меня остаются лишь с солистом Борей, поющим при любом удобном случае «Рюмку водки на столе», и бас-гитаристом Димой. Тот вообще ничего не соображает и не воспринимает происходящее вне своего инструмента.

С Сашей получилась действительно проблема. Он категорически против. Сам репетирую хитрого зэка вместо него.

Начальник по воспитательной работе приходил пару раз на репетиции. Как мне показалось — остался доволен. Услышал душераздирающую песню Ивана. Увидел барыгу, несколько

лет торгующего всем, что продается и покупается, в роли электрика, который рассказывал про необходимость трудиться и соблюдение безопасности. Потирая брюхо, ушёл. Он напоминал мне старо пародийного Горбачёва. Импозантного, глупого, богатого.

Ребята втягиваются. Кайфуют.

Это самое главное. В этом «произведении искусства» важна не его художественная ценность. Просто обмен положительными зарядами между участниками. Все и так страдают без понимания.

День премьеры. Показываем для администрации и козлов, нагнанных для массы. Своего рода генеральная репетиция. Комиссия приезжает через три дня.

Закулисье. В просторной гримёрке смеёмся, нервничаем, готовимся. Я волнуюсь. Вдвойне — за себя, за всех, за общее восприятие.

Поехали.

Ваня побежал, вернулся. Показывает большие пальцы. Значит — приём супер.

Сцена с электриком. Мой выход. Наигрываю. Утрирую, как тридцать три слона. Но благодарные, непритязательные зрители хохочут и аплодируют. Не сумев сбить Ивана с правильного пути, я ухожу.

Появляется жизнерадостный актив. Занавес.

Начальник благодарит лично. Благословляет на показ перед комиссией. Но самое приятное — похвала эков. Прожжённых, циничных людей. Пусть это даже и актив, козлы. Но и от них услышать: «Старик, интересно сделал, мы смеялись» — дорогого стоит.

Даже такая моя халтура понравилась.

Мне показалось, я приобрёл в лагере какой-то вес. Хотя это, конечно, смешно.

Больше всего для меня откровение — внезапно проснувшаяся жажда творчества у моих обращённых адептов. За мной бежит высохший от героина барыга. Десятка срока за убийство. Просит сочинить продолжение этой истории. Его зацепило сценическое творчество.

Я же перегорел. Особенно после разговора с завхозом клуба. Тот прямо сказал: без инициативы администрации ничего делать не надо. Ну и нет никакого желания делать продолжение. Сколько ни сочиняю — ничего не получается. Завхоз — парень недалёкий, но цельный. Что называется, мужичок. Ветеран чеченской. После неё, видимо, так и не адаптировался к воле. Стал воровать. Теперь вот мне рассказывает как жить... А я слушаю. Мне все почти что-то рассказывают. Я таким, блядь, идеальным слушателем стал за это время, хоть в колбу и в музей эталонов.

Вновь затянувшееся буднями наше болото разрывает новость. Министерство культуры Перми в рамках театрального фестиваля «Территория» проводит конкурс. Лучший рассказ — четыре странички максимум.

По лучшему тексту будет поставлен спектакль в рамках этого фестиваля. Говорят, придет какой-то английский режиссёр. Фестиваль российский, масштаб огромный. Голова кругом.

Сажусь сочинять. Буквально за пару дней выдаю сагу. Парень расстается с девушкой. Уже на пути к своему дому слышит взрыв. Разворачивается. Бегом назад. Во дворе любимой видит — взорвался её дом. Прямо в районе её окон.

Герой влетает в парадную. Пробивается сквозь поваленные стены. Слышит крик ребёнка, задыхающегося под обломками. Но он не может остановиться. Бежит вверх, к квартире любимой. Врывается, ищет её — не находит. Потом его, в полубессознательном состоянии, выводят эмчезники.

В толпе зевак он встречает свою любовь. Живую. Вылезающую из машины его знакомого.

Потом он долго носит цветы на могилу той самой девочки, которой не помог.

Трогательно до глубины души. Сентиментальность — это одна из отличительных черт заключённых. Такие, блядь, ми-ми-мишки.

Работы собирают со всего лагеря. Что само по себе меня удивляет. Я не предполагал здесь наличия конкуренции. Думал — из-за отсутствия предложений главный приз мой.

Проходит полторы недели. Лагерь собирают на линейку. Вызывают человек десять. В том числе меня.

Министр культуры Пермского края поздравляет нас, благодарит за участие. Дарит каждому подарки.

А главный приз? Вот, думаю, момент истины. Щас лагерь весь узнает, с каким талантливым человеком они сидят.

— Главный приз за рассказ «Бабочка»...

Какая на хрен «Бабочка»? Хотя я, кажется, не озаглавил рассказ. Это сделали за меня.

— ...вручается...

Тут, конечно, сомнений быть не может. Имя не моё.

Сука. Татарин какой-то лысый выползает с просветлённым лицом из строя лауреатов. Ему вручается огромный торт. Зависть и желчь переполняют меня. К ним приплетается ещё и дикое желание сладкого. Торт такой аппетитный. Уж очень хочется прочитать его писанину и сравнить. Ведь по его рассказу ещё и сцену поставят.

Расстроенный иду к своей локалке.

Со всех сторон сбегаются голодные эки.

— Дай посмотреть, что подарили! Угостить есть чем-нибудь?

Уже ненавижу этих эзков, этот подарок и вообще всё. Хочется кинуть этим сямкам пакеты и уйти в барак.

Открываю. Со всех сторон заглядывают любопытные. Со злостью смотрю на них:

— Да отвалите! Самому дайте посмотреть!

Но на лицах вижу совершенно непонимающие гримасы. Мол, что ты кобенишься, мы же тоже хотим.

Отворачиваюсь. Отхожу.

Более-менее тактичные ретируются, пожимая плечами: капризный какой. Остальные тянутся за мной. Их не остановит ничего.словно бродячие голодные дворняги, учуявшие пищу. Тянутся за тобой, несмотря на палку руках. Страшно, но голод пересиливает.

Чёрт с ним. В пакете — несколько пачек с разными видами чая.

Сгущёнка, конфеты, что-то ещё.

Увидев чай, толпа сразу начинает:

— Лёха, вот этого насыпь! Ну чуть-чуть!

Жаба душит страшно. Чувствую запахи хорошего чая и представляю, как эти нехристи будут осквернять. Заваривать на его основе чифир.

Почти бегством спасаюсь в бараке. Добираюсь до прохода. Здесь пытаюсь минимизировать потери. Узость расстояния между шконками мешает количеству просителей.

Под несмолкаемое «дай» прячу расфасованный приз. По нескольким карманам и в тумбочку. Разворачиваюсь. Иду открыто, игнорируя просителей, на кухню.

Разочарованные, рассерженные, они уходят. Бросают мне в спину всякие гадости. В том числе:

— В другом бы лагере насильник вообще бы всё отдал!

Меня передёргивает. Но стараюсь не показывать. Не слышу, и всё. Я немного победил.

В клубе позднее встречаюсь с татаринком, написавшим победивший рассказ.

Совершенно не похож на преступника. Открытое лицо. Большие глаза. Очень спокойный голос. Ведёт себя нарочито корректно. Ссоры избегает, на провокации не реагирует.

Провести он может кого угодно. Только не человека, видевшего немало масок комедии дель арте.

За этим спокойствием прячется какая-то клокочущая неудовлетворённость. Жажда чего-то. И непонимание, в чём конкретно желание.

У него перкуссия. Играет на ней. Разговаривает с тобой с блуждающей улыбкой.

Затеял с ним разговор. Понял — недалёкого ума. Смесь из буддизма, христианства и ислама.

Дали четыре года за гашиш. Точнее — за попытку контрабанды.

Он ездил по Индии. Там на каждом углу курят. Приобщался к вековой культуре. На волне эйфории взял в дорогу с собой совсем немного гашиша. Исключительно с целью личного употребления.

На таможне озвучил свою трактовку. Из аэропорта татарин поехал прямо в тюрьму.

Там он пользовался неким авторитетом и неприкасаемостью. В зоне затянул себе перкуссию. Долбил на репетициях в клубе.

Все в клубе его терпели. Потому что договориться с ним ни о чём не было никакой возможности. Он улыбался, кивал. И делал по-своему.

Я увидел в нём возможность более-менее аналитического, критического общения. Завёл однажды разговор о чём-то возвышенно-умном. И столкнулся с обычной косметической стенкой снобизма. Снобизма, не основанного, по большому счёту, ни на каком глубоком анализе.

Тоже пустышка.

С тех пор обида за неполученный приз соединилась с высокомерным презрением.

Башкой-то я понимал, почему выбрали его рассказ. Он был о боге.

Интерпретация притчи о Боге, являющемся людям в разных обликах. Реакции людей и типы искренности веры. Конечно, по смыслу готовящегося фестиваля вера, Бог — всё подходило идеально. Вот, мол, какие у нас нежные ээки. Чувствуют как, прям, блядь, бабочки.

Ладно, оставим. У меня по карманам моей сраной душонки распахано столько говна, что невероятным усилием останавливаю себя от мощной эякуляции желчи.

Предстоящий театральный эксперимент никто кроме меня серьёзно не воспринимает. «Сказали: примешь участие – УДО по зелёной». Такое отношение.

Вызывают в клуб. Приехали.

Входим. Всего около двадцати добровольцев. Осторожно втискиваемся в ворота клуба и по проходу движемся к сцене.

Там стоит стол. Два стула. Молодой человек с круглым лицом. Чуть старше — с вытянутым. Сразу чувствуется – не наш.

У молодого немного растерянно бегают глаза. Второй же внимательно вглядывается в нас. Изучает. Но очень корректно.словно говоря: «Не обессудьте, наблюдаю с чисто профессиональной точки зрения, не как за зверьми».

Оба в клетчатых лёгких рубашках. Причём на переводчике — ну а кто это может быть ещё — она почему-то дороже и качественнее. Заигрывает англичанин с нами, что ли? Ладно, не будем лезть. Всё-таки ребята занялись не самым безопасным делом.

— Здравствуйте, меня зовут Алекс, — не переставая нервничать, переводит парень в рубашке подороже. — Я театральный режиссёр. Живу в Англии. Осуществил немало подобных проектов. В лагере в Бельгии, в тюрьме в Англии. И вот сейчас меня пригласили в Россию. У вас своя специфика, национальные особенности.

Мы хихикаем. Специфика. Понятное дело — у нас особенная статья. Аршином общим не измерить. Гордимся тем, что выделяемся. Правда, спроси любого из присутствующих — объясни, чем? Не сможет сформулировать.

Духовитые мы. Как мне представляется эта духовитость — огромный, истребляющий всё живое перегар, потребляемый.

Алекс рассказывает.

— Две недели мы будем репетировать, — переводит парень. — Потом покажем в рамках большого государственного театрального проекта «Территория» спектакль. Он состоит из трёх инсценировок по произведениям Бабеля, Чехова и, собственно говоря, татарина\!. Приедет Пермский городской театр. Поможет нам с костюмами, светом.

Забегали нетерпеливые мысли. Хочется повидаться с коллегами по цеху. Прикоснуться к людям, касающимся театра.

Алекс предлагает после вводного инструктажа поучаствовать в этюде. После этого, на следующий день, он будет распределять роли.

Задание: ожидание автобуса.

Втроём устраиваемся на импровизированной остановке. Каждому — предлагаемые обстоятельства. Папа с сыном. Уволили с работы. Едут с рыбалки. Буквально пару минут.

Один поворачивает голову налево. Приставив руку к глазам, усиленно вглядывается вдаль. Другой суетится. Спрашивает, где же он.

Алекс прикладывает палец к губам.

— Молча, — переводит парень в рубашке подороже.

Я, вспомнив про сына, обыгрываю присутствие ребёнка. Глажу его по голове. Заглядываю в глаза. И лишь потом, повернув голову, вглядываюсь вдаль. Забываю про ребёнка, отпускаю его. Полностью переключаюсь на изучение дороги. Спыхватываюсь. Судорожно глажу по воображаемой голове. Лихорадочно соображаю, как ещё можно его обыграть. Виновато улыбаюсь. Поднимаю глаза на Алекса. Предполагаю — он качает недовольно головой.

Но Алекс не смотрит на меня. Он наблюдает за другими. Нельзя же на него смотреть. Законы жанра, ёбт. Чё то я выехал...

Вновь беру за руку воображаемого ребёнка. Треплю по голове. Смотрю то вниз — приблизительно по росту десятилетнего мальчика. Или у меня шестилетний получается? Или... Да в конце концов?!.. Мейерхольд, что ли, приехал?

Хлопают входные двери и почти за мгновение зал заполняется людьми. Они непривычно странные. На плечах у троих — профессиональные камеры. Кто-то несёт провода, чемоданы. Кто-то — какие-то пульты.

Входят деловито. Осматриваются, примеряясь. Мы для них — не более чем декорации для их следующего фильма.

За ними входит расслабленный парень. Потому что «мужик» для него не подходит. Его я узнаю сразу. Видел очень часто по телеку. Помню его неспешную манеру речи. Вроде немного картавит.

Это Кирилл Серебренников. Как я понял — худрук всего этого проекта.

За ним выплывает довольный замполит по воспитательной работе. Ему разъяснили, кого он сопровождает. Он проникся значимостью происходящего. Рыщет по нашим физиономиям. Остановившись на мне, загорается. Машет мне рукой. Что-то говорит Серебренникову. Тот кивает. Спокойно, без любопытства — или это профессиональное — оглядывает меня.

Подхожу.

— Вот. Я говорил о нём. Окончил театральный институт в Питере, — лебезит замполит. Кирилл кивает. Протягивает мне руку.

«Да, парень, наверно, сильно тебя трепануло, раз с таким образованием ты здесь», — говорит его немного высокомерный, снисходительный взгляд.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — отвечаю. — Очень приятно вас здесь видеть. Повеселее будет.

От волнения, теряюсь.

— Поможете, если что? — абстрактно интересуется Серебренников. Уже потерял ко мне интерес. Осматривает за моей спиной мизансцену из участников.

— Конечно. Всё, что в моих силах.

Выкидываю ладонь со своим горящим сердцем. Никому, которое, понятно, даже в далёкой перспективе не нужно.

Возвращаюсь на сцену. Коллеги по цеху смотрят на меня с интересом. Продолжаем сцену ожидания автобуса. Люди с камерами исследуют зал. Примеряются. Мне приятно знать, что я понимаю смысл их передвижений. С чувством превосходства исподтишка наблюдаю за открытыми ртами эзков.

— Это документалисты, — поясняет наше недоумение Алекс Дауер. — Они будут снимать наши репетиции. Вашу жизнь между ними. А потом смонтируют фильм. Но вам необходимо подписать договор. О том, что вы разрешаете использовать ваши изображения. Того требует законодательство в этой сфере. У нас в Великобритании — он старается подчеркнуть величие собственной страны, что ли, используя название? — кстати, всё то же самое.

Мы, блин, счастливы. Мол, у нас всё по-взрослому. Правовое государство. Цивилизованный рынок. Раз в тюрьме заключённым предлагают оформить сделку, спрашивают согласие. Почти Европа. На полшишки.

Представили нам документалистов. По очереди все выполнили этюд с автобусом, и мы разошлись.

Я остался доволен. Хотя бы частичка прежнего родного, всплывшего грела и заполняла. На следующий день мы зашли в зал. Я заметил поставленную доску.

Нам что-то хотят объяснить. И прямо с места в карьер Алекс, поздоровавшись, начал нас грузить психологическими выкладками. Рисовал схемы с надстройками, выводами, причинами. Рассказывал нам, почему мы здесь оказались и как с этим бороться.

Половина отведённого времени прошла впустую. Потом занимались дыханием.

Мне не терпелось перейти к самому главному — распределению ролей. Тут, рассчитывал, справедливость восторжествует. Восстановится. Меня выберут на какую-нибудь главную роль. До этого момента я не наблюдал выделения моего дара. Таланта. Исключительности, блядь, в конце концов.

Становится скучно. Попиздели, подышали, снова запиздели... Зачем это всё? Школьное. Взрослые, суровые люди. Никогда до этого не обучавшиеся. Сейчас все всё бросили. Назад сдали. Изменили отношение. Внимательно, как примерные первоклашки на Уроке мира, взяли ручки. И ну конспектировать за Алексом.

Начинаю рисовать в выданной тетрадке. Обложка тетрадки — физиономии Микки Мауса. Маленьких, побольше, средних. Разрисовываю их по настроению. Этот получился космическим. Этот — грустным. Этот — весёлым.

Я так увлекаюсь, что не замечаю подплывшего сбоку оператора. Снимает мои художества. Мне это льстит. Хотя тут больше зоологический интерес психиатра: что у меня, преступника сраного, в башке?

Наконец Алекс заканчивает социальную тягомотину. Предлагает вновь какие-то этюды.

Парни оживляются. На втором занятии уже нет циничных смешков, снисходительной иронии. Заинтересовало.

Размышляю над ответом Серебренникова.

Я задал вопрос:

— Это творческий проект или социальный?

Ни секунды не думая, он ответил:

— Социальный, конечно.

Чем посеял в моем, только начинающемся наливаясь творческом яблоке, хорошую червоточину.

Как я и думал. Есть программа социальной реабилитации нас, вырожденков, к нормальной человеческой жизни. И этот спектакль — мы лишь галочка в отчётности для какого-то дотационного бабла.

Английский режиссёр здесь для придания мероприятию некоего флёра. Оттенка изысканности. Непохожести ни на что.

В такой короткий срок произведения искусства не создают. Но я надеялся — может, возможен театральный эксперимент? Ведь я давно уже не в теме.

Ладно. Хотя бы прикосновение к прошлому. Зудящему, тревожащему.

В бараке поводов для шуток пока что номер один. Меня не касается. Других участников эксперимента гнобят.

— Ну что, ты клоун теперь? Выступать можешь?

— А эти, как их... Мячики можешь? Жонглировать?

— Тут у меня два яблока, изобрази ж!

И заливается от собственной находчивости. Мне неприятно. Но я, естественно, не лезу. В тюрьме очень дорого порой обходятся такие влезания.

Ничего. И без моей помощи Денис справляется.

— На УДО по зелёной пойду осенью. Я и так красный. Что тут стрёмного для меня? — спокойно отвечает он.

До этого он был дневальным в карантине.

И да, упоминание про УДО действует на них завораживающе: казалось бы, ничего не надо делать, а тебя пораньше отпустят. Кто-то переговаривается между собой, кто-то потом к Денису подходит, спрашивает, как можно записаться к вам ещё. И уже воспрямивший Денис высокомерно немножко отвечает им: набор закончен, больше уже туда никого не берут. И расстроенный — некогда только буквально недавно хаявший всю эту историю — расстроенный отходит.

Наблюдаю за людьми. Реакции разные. Артём. Чёрного цвета, смотрит на нас с пустыми, грустными глазами. Ему-то что? Не УДО — у него какая-то форма СПИДа, электронные часы, которые напоминают каждый раз о принятии таблеток. Условно здесь и условно его нет. Сидит по 131-й — тихий, спокойный, интеллигентный татарин. Ему, конечно, и на воле немного осталось, недолго точнее. Так он наблюдает за нами, за перемещениями, за тем, что нас волнует. Почти уже оттуда.

Я, словно вживаясь в его шкуру, также отъезжаю от этого барака и наблюдаю за нами, которые суетятся, бегают, какими-то делами своими занимаются. Я, который пытается в зоне найти свою творческую реализацию... Думаю, как это глупо: столько лет, я до сих пор этого не сделал, а сейчас в зоне вдруг я всего добьюсь? Тут меня заметят, пригласят в какой-то театр...

И вот это настроение — оно скачет безумно, резко, неожиданно обрушиваясь на тебя своей правдой. Ты вспоминаешь о том, сколько просрано, сравниваешь с этой глупой сегоднешней историей в театр, но давишь в себе, давишь со всей мочи этот пессимизм, чтобы хоть как-то разнообразить эти дни свои пустые этой театральной игрой. И не сойти с ума от клокущей плазмы рефлексии и отчаяния.

Глава 11

Долгожданный день распределения ролей. Мы сидим, собравшись в зале на сцене, — Алекс. Он улыбается, в руках у него листы бумаги, на которых, видимо, написаны наши имена и соответствующие им роли. Мои коллеги переглядываются, толкают друг друга — очень интересно, кто кем будет.

Первый отрывок — это Бабель, кусок из какого-то произведения про военных. Потом — басня татарина про бога, и третий кусок — Чехов \неожиданно вспомнил!\ по мотивам рассказа «Налим». Я жду, что меня, конечно, назначат на какую-то красивую, основную роль, где я буду важно, красиво ходить. Я почти не волнуюсь, конечно же, у меня всё будет прекрасно.

Читают. В первую же минуту я понимаю, что все основные, хорошие роли разобраны. Мне достаётся роль писаря из новеллы Бабеля с двумя-тремя фразами. Я раздавлен полностью. Ведь я же должен был блеснуть! Перед кем блеснуть? Перед этими зэками? Идиотизм. Но желание самоутверждения не зависит от аудитории, перед которой ты выступаешь, — всё равно перед кем.

Итак, писарь. Ну что ж, будем писарем. Я вам сделаю такого писаря, что зал взорвётся аплодисментами! И вдруг Алекс произносит следующего участника нашего спектакля, повергая всех присутствующих в лёгкое сомнение и смятение.

Оказывается, вместе с нами в спектакле будет участвовать Татьяна Арно — это актриса, журналистка, которая в своё время участвовала в телепередаче «Розыгрыш» с Пельшем. Нам очень интересно, как это будет происходить с организационной точки зрения. Ведь не может же она прямо вместе с нами репетировать. Но этот проект настолько прецедентный и громкий, что многие препоны сняты, и через пару дней выясняется: она действительно будет репетировать вместе с нами, практически без охраны — только в зале будет присутствовать полиция.

Первый же день её появления — в белом летнем платье, очерчивающем формы, — произвёл фурор. Зэки потекли. Шутки вполголоса, потирание рук, возгласы «Эх, я бы ей вдул!» — это самое скромное из всего, что можно было услышать за её спиной. Она сидела рядом с нами, дышала своими духами, выступала с нами на сцене. Все были словно в мареве, в ореоле её сексуальности. Приходили в барак и рассказывали восторженно о её богоподобии.

Репетиции закончены, наступил день премьеры. Весь лагерь на ушах. Прямо в лагерь заходят какие-то режиссёры, какие-то участники этого театрального фестиваля, самая известная из них — Мария Голубкина.

Итак, премьеры. Мы на сцене. Моя новелла — первая, и спектакль начинается прямо с моих слов: что-то там про депешу, «от такого-то депеша туда-то»... В общем, очень важно раскладываю свою портупею, планшет или какую-то фигню, на которой я пишу потом, сидя в уголке сцены. Произношу фразу — «что-то ты куда-то иди, что-то там принеси какому-то гонцу». Спектакль идёт, мы бегаем за кулисами, нам весело. Подходит к концу... Из-за кулис смотрим в зрительный зал, нас радует, как реагируют люди.

В конце все выходим на сцену. Миша садится за синтезатор и играет вольную, блюзовую импровизацию. Танцуем — кто во что горазд. В силу какого-то стечения обстоятельств я оказываюсь в центре сцены и зажигаю буквально на пять минут в диком, каком-то безудержном танце. Мне аплодируют студенты, пришедшие из Пермского театрального института, сидящие на задних рядах. Я словно вернулся в свою юность. Словно не было ничего: ни наркотиков, ни алкоголя, ни этого ужаса.

Неделю после этого — холодное опустошение. Словно выдернули, вырвали часть каких-то чувств. Ничего не хочется, нет желаний. Единственное — абсолютно точно: я уже иду на УДО, и осенью я буду дома.

Начальник отряда, дико ненавидевший меня с первого дня, но ничего не могший со мной сделать (так как я был под покровительством замначальника колонии по воспитательной работе), всё-таки находит способ доебаться до меня. Приходит с предложением пройти полиграф. Я сначала соглашаюсь, потом отказываюсь. Полиграф он предлагал пройти для «наиболее полной характеристики моей личности», для того чтобы уже «спокойно можно было меня отпустить на УДО». По его представлениям.

Я посоветовался с одним парнем, который как-то что-то представлял себе о полиграфе, и он мне сказал, чтобы я ни в коем случае этого не делал. Процедура предполагала не один день разговоров с человеком, который её проходит. То есть это не так должно быть: на тебя надели датчики, позадавали вопросы, ты поотвечал и ушёл. Нет. Сначала с тобой должны провести беседу психологи. Понять, как ты реагируешь на те или иные вопросы, чтобы из этого сделать выборку о твоих эмоциональных триггерах, ну и составить своего рода портрет человека, реагирующего на те или иные темы тем или иным способом. Я не знаю точно, насколько правильно это формулирую, но, в общем, перед полиграфом с человеком должна проводиться работа. А мне сказали, что ничего этого не будет — просто меня поведут и будут спрашивать.

Решил отказаться. Начальник отряда пообещал мне, что никуда меня не отпустит. Сказал — напишет отвратительную характеристику, чем поверг меня в дополнительный кульбит депрессии вплоть до самого условно-досрочного освобождения.

Сразу же после этой угрозы понёсся к замначальника по воспитательной работе колонии и выдохнул ему всё это, он лишь ласково улыбнулся — такой радушный Винни-Пух. И говорит: «Не беспокойся, это не твоя забота». В принципе, муки совести меня не терзают, что сдал начальника отряда, потому как с ментами правила порядочных арестантов не действуют. Менты ведут себя с нами как угодно, мы в полном своём праве вести себя с ними точно так же.

В лагере — ЧП. На Сашу совершено подлое покушение. Шестидесятишестилетний пидор Володя, непосредственно его сосед по шконке, положил в запарики Саше гвозди. Причём не маленькие обойные, а такие — с палец. Никому не известно, на что Вова рассчитывал, но гвозди, к счастью, были вытащены до момента употребления макарон.

Бедного Володю тащат в оперотдел. Он трясётся, нервно курит в локалке перед выходом. Главпетух подходит и лупит по голове.

- Гавно ты старое! Жопа ты грязная! На хуй ты это сделал?

Наблюдатели хохочут. Вова наклоняет голову чуть ли не до колен.

- Бес попутал! Прости, Серёжа!

- Бес, блядь, это ты, говномес старый! Ща придут из-за тебя весь петушатник расхучают.

А если произойдёт сие событие /непонятно с какой целью главпетух периодически использовал архаизмы/...

Сережа делает вид, что достаёт член из штанов. Вова деланно пугается.

- Я тогда тебя тухлая твоя дырень до конца срока в туалете похороню на уборке!

Вову гнёт ниже.

В оперотделе Вову журят и отпускают с богом - рассказывают нарядчики, моментально подхватывающие все события, они живут в нашем бараке и по вечерам делятся новостями. Сашенька жива и радуется своим флегматичным фланированием по локалке.

УДО! В зоне каждый месяц уходит много зеков. Стараются не рубить. Лишь наиболее отъявленных распиздяев оставляют. За месяц надо мной начинает издеваться весь отряд.

- Сейчас вышел новый приказ прокуратуры. По вашим статьям не отпускают вообще.

- Не! Отпускают. Только я слышал тонну зелени занести надо.

- А у тебя, Алёша, ни тонны, ни гандонны!

Хохот. Делаю вид, что смирился и с таким исходом. Такой поворот не нравится экзекуторам.

- Ещё я слышал сейчас отпускают по вашим статьям по сроку, а у калитки опера вольные встречаются: здрасти, вот тут эпизодец всплыл! Проедемте с нами!

Хохот громче. Ну его на хуй! Изображаю ужас. Так, видимо, пойдёт. Отстают.

Процедура простая. Полдня стоишь в штабе ждёшь очередь войти рассказать почему ты - гавно хочешь раньше освободиться. Потом ждёшь одобрили тебя или нет. И, наконец, ждёшь суд.

Суматошный день приёма у ментов прошёл муторно, но быстро. Меня характеризовали положительно и колония поддержала мою кандидатуру перед судом. В общем надо сказать – начальник отряда мудила вставил всё-таки своё «фи» и отказался поддерживать. Снял с себя ответственность за выпуск на волю Лектора.

Следует упомянуть ещё один нюанс. Несмотря на большое моё нежелание.

Для того, чтобы отправиться на УДО, необходимо было признать свою вину. Я за весь срок не сознался в этой хуйне. А тут, в конце срока, без давления...

Думал я неделю. Когда увидел бланк подачи заявления, где в конце было написано: «...вину свою признаю полностью. В содеянном раскаиваюсь», понял — юридически эта бумажка ничтожна. Нигде, кроме районного суда города Перми, она не появится. Но даже если когда-нибудь — большое воображение рисует разное — её достанут, то я смогу опротестовать. Это своего рода показания. А они даны без адвоката. Нуль смысла.

Успокоился. Подписал. Похуй уже, как вы там посчитаете. Кто-то...

Приятель мой подогрел меня ещё одним бодяком. До суда досижу с чаем. Но важно не разбрасываться. Суды — то есть рассмотрение наших дел — переносят. И можно уйти не через месяц. Надеюсь на лучшее. Из всего, блядь, худшего!

Отложил сигареты — постирать одежду в бане перед освобождением. Купил «модную» куртку себе у дневального штаба. Эпопея с курткой вымотала. Сначала она пропала по пути из каптёрки в локалку. А половина стоимости уже была отдана.

Прибежал в конце дня запыхавшийся шнырь каптёрки — я уже сходил, поплакался нена-роком, что меня кинуть хотят, козлы. Сообщил, что не смогли вынести, но завтра точно будет.

На следующий день появилась пуля. Куртку продали в соседнюю локалку. И человек уже освободился в ней с утра.

Почти каждую неделю уходили удошники. Я поверил.

Но оказалось — кто-то видел на ком-то похожую...

Делать в зоне нехуй. И если можно смастерить событие из любого говна — кто-нибудь обязательно этим займётся. Тем более дико весело было наблюдать за мной. Не жрущим, не срущим, носящимся по локалке в поисках достоверной инфы.

По итогу получил я свою куртку. Какие-никакие ботинки. И счастливый уселся ждать.

Ехать из Перми двое суток. А дома — вообще непонятно, что меня ждёт. На первое время не к кому обратиться совсем. Так хотя бы в более-менее приличном виде передвигаться по городу.

Завтра объявят с утра, кто прошёл суд. Останется десять прокурорских дней подождать и...

— Слышал, распоряжение из Москвы пришло? Что по вашим статьям заворачивать после судов?

Сука ты ебучая! Голова твоя дремучая! У тебя конкретно, блядина в рваных трусах, откуда эта информация? От самого прокурора московского?

Ходят эти говноеды, у которых срока — что у дурака махорки. И ссут в уши придуманными самими же историями.

Не даюсь. Стараюсь не вестись. Но утро предательски сбивает оптимизм.

— Не. Тебя нету.

— Да как так?

— Ну вот как «есть», только наоборот, — улыбается дневальный. — Да не ссы. Ты тут не один. Ещё десятерым перенесли на месяц.

В бараке странно. Я уже почти с ним попрощался. А теперь — словно заново обживаться. Ебаная система! И что ты сделаешь? К жопе тряпочку приделаешь!

Земляки не скрывают злорадства. Как-то три месяца назад я им не дал кипяtilьник — потому что один они мне благополучно спалили. И теперь они светятся от восторжествовавшей справедливости.

Сижу в бараке, слоняясь между пище́вкой и телекомнатой. В телевизионной невозможно дышать — выдержи́ваешь максимум полчаса. Да и эти полчаса так себе отвлечение.

- Включи, блядь, футбол! Заебал твой фильм уже! Ни хуя не происходит!

- Заебал твой футбол! Зенит — Локомотив, бля! Езжай к себе в Птитер и там болей!

- Да, ёбт! — с другого конца. — Действительно же «Пиранию» уже двадцать раз смотрели!

- О! Объединились земляки! Пиздуйте в Кресты. Там и посмотрите.

- Ага! Напишите явки на парочку эпизодов — вот и посмотрите и «Зенит» и Опиздинит!

Среди пермяков хохот. Нас недолюбливают. Про явки — отсылка к нашим козлячим зонам. У них то всё чёрное.

Пошел в локалку. Через полчаса прогулки посетила мысль: почему у меня так происходит в жизни и что для этого надо поменять. Посвятил ей ещё полчаса. Заболела голова. Ответ не появился. Клятвенно себе пообещал не забрасывать эту тему.

И вот так весь месяц я хожу. Брожу. Думаю. Читаю по 15–20 минут в день — потому что больше нет ни сил, ни желания. Да и книги закончились.

Перечитал всё возможное. Что было: «Доктор Живаго», «Дар» Набокова. Всё, что нашёл. Девяносто девять процентов библиотеки — это книги Ольги Форш, ещё каких-то непонятных советских писательниц и сочинения Ленина, забившие несколько полок. В общем, хорошая книга здесь — большая редкость.

Но за время моего сидения ребята с головой на плечах, которые имели возможность затягивать книги с воли, распознали во мне читающего человека. Кто-то делился. С благодарностью вспоминаю этих людей. Благодаря им мозг окончательно не свернулся до состояния копейки.

Растягиваю то, что у меня осталось. Чай, курево. Окончательно надел на себя броню. Никому ничего не даю. «Нету ни хуя!». Никто уже и не обращается. Все понимают — я готовлюсь уйти. Мне безразличны дальнейшие отношения. Уже никто мне ничего не причешет: ни за тюремное, ни за общее, ни за что. Похуй.

Пасмурные дни. Погода не радует.

Периодически в отряде устраивают какие-то профилактические мероприятия. Заставляют гулять на улице по полдня. Тоже развлечение. В каждом углу локалки на вафельных полотенцах, которые выдают для бани, варят чифир. Весело, задорно проходит прогулка. Полотенце скручивается так, чтобы оно тлело, горело. Делается «морковка». На ней варится чай в алюминиевой пятихатке — поллитровой кружке. Приходится изгаляться. Полотенца у отряда практически все на это ушли.

Единственное, что радует — засыпаю я почти мгновенно. Несмотря на то, что пермское «Радио Бolid» продолжает радовать меня разговорами про пизду каждый отбой.

Организм так вошёл в состояние режима, что плавно выключается в десять и включается в шесть.

Так как режим лайтовый, встаёшь не спеша. Да, ты должен выйти на эту зарядку. Особенно тебя никто не тащит туда. Ну, если мент придёт — конечно, тебе будет плохо. А так — всем всё равно.

Шатаешься. Бродишь. Пошёл на завтрак, поел. Пришёл. Ложишься спать на шконку. Пришёл мент — спрыгнул. Ушёл мент — лёг обратно. Опять спишь. Опять встал, опять попил чай, опять погулял. Обед, поел, пришёл, лёг спать, чуть-чуть поспал, погулял.

Из того, как я рассказываю, получается практически пионерлагерь. Даже Кирилл Серебренников так сказал — помню, в каком-то разговоре это пришили к кадрам документального фильма. Но это совсем не так.

Это тёмная клоака. Она поглощает. Отупляет тебя. Вводит в этот режим болота. Болото и инерция засасывают. Не то что развитие — тут даже о поддержании последних моральных или психологических качеств речь не идёт. Не говоря уже об умственных.

Всё это время я хожу, думаю. Этот поганый, долгий месяц.

Наконец — день суда.

Просыпаюсь в пять. Намываюсь, потому что больше не могу уснуть. В шесть — зарядка. Семь. Восемь — завтрак. Пришли с завтрака. Девять. Десять.

Объявляют списки. Я не слышу своей фамилии.

У меня опять сердце ухнуло. Тупик.

Вызывают в штаб, чтобы расписаться за решение суда.

Я не верю своим ушам. Глазам. Всему. Ноги подкашиваются. Счастье вперемешку с недоверием.

Неужели через десять дней я уйду домой?

Подписал. Пришёл в барак. Ответил на все вопросы земляков — подтвердил, что ухожу. Через десять дней.

Сразу начал получать задания: с кем связаться на воле, кому что передать.

Два дня хожу в сомнамбулическом состоянии. Остальное время провожу в подготовках.

Растягиваю всё по мелочам. Собираю бумаги. Договариваюсь, как мне должны принести одежду. В общем, разбиваю остаток своего срока на маленькие-маленькие задачи. И стараюсь максимально продлить время их исполнения. Чтобы просто занять голову и победить тоску.

Ну чем ближе этот день, тем всё менее мне понятно моё социальное, материальное — да какое угодно — состояние, которое меня ждёт.

Вернусь в свою ненавистную коммуналку. Увижу ненавидимых мною соседей. Из одного гвалта и хаоса — в другой.

И как-то не видно перспектив. Чем ближе к свободе, тем менее понятно, что там меня ждёт. С одной стороны, конечно, хочется освободиться. С другой стороны — что я под этим представляю? Нажраться. Погулять. Выебать кого-нибудь.

Всё настолько не устроено... Всё настолько разьебал, что восстанавливать это придётся даже не один месяц.

Я не знаю, куда идти работать. Я не знаю, где взять деньги на первое время. Я не знаю, где найти бабу сразу же. Это вообще с моими — несмотря на то, что я не урод — комплексами одиночки невозможно.

То есть, какой смысл мне вообще освобождаться? Если я настолько не готов, не подготовлен и вообще не понимаю, что там будет происходить.

Порой от этих размышлений охватывает почти паника. Ты перестаёшь понимать вообще смысл твоего существования.

Выйду — напишу Серебренникову. Чтобы взял в кино сниматься. Ну, примерно подобная чушь лезет в голову. Либо выйду — и сразу же мебельную фирму организую. Всё начнёт двигаться, крутиться, вертеться.

Но я понимаю, что у меня в силе характера нет таких качеств, которые позволяют долго, кропотливо что-то создавать. Я быстро охлаждаюсь. Начну что-то — и потом сразу же бросаю через какое-то время. Поэтому ничего я, конечно, не сделаю.

Никакую мебельную фирму. Максимум, что я умею — собирать мебель. Ну и придётся где-то что-то искать. Какого-нибудь дядю, который будет мне платить потихонечку.

С такими мыслями проходят несколько дней. Худею. Не ем. Пью чай, курю сигареты.

Наконец этот день. Да.

Просыпаюсь в пять утра. К тем, кто освобождается, относятся снисходительно. Разрешают им, пока остальные спят, шататься по барaku.

Кипячу воду в нескольких чайниках. Прошу, точнее, ночного дневального это сделать. За пачку сигарет. Просыпаюсь — у меня уже вскипячённая вода.

Выстроившись кое-как у умывальника, я ополаскиваюсь. Причём надо успеть, чтобы уборщик убрал до подъёма. Пищёвка пока закрыта.

Так что, одевшись, отпидарасившись, жду шести утра.

Подъём. Завариваю чай. После зарядки колотит. Всё выглядит очень странно. Я покидаю зону. Через несколько дней я буду дома.

Как это? Полтора года меня там не было. Как я приеду туда?..

Обычный хмурый ноябрьский день.

Еле-еле вталкиваю в себя завтрак. Заранее до проверки переодеваюсь во всё вольное. Менты на проверке также смотрят на это сквозь пальцы. Освобождается — что с ним ещё делать?

И наконец, оформив бумаги, я и ещё несколько человек — в том числе, как понимаю, несколько питерских — приходим в отдел. Что-то нам выдают. Какие-то деньги на проезд. Какие-то копейки.

Подходит Трусов. Это опер отряда. Называет мою фамилию.

Я говорю:

— Да, это я.

— У тебя сто тридцать пятая?

— Да.

— А как же ты мимо меня прошёл?

— В каком плане?

— Ну, с такими статьями через меня не проходят.

— Да я бесполезный в этом плане. С вами не работаю по страху.

Промолчал.

Это добавило мне немножко гордости. Я его приземлил. Потому что, как правило, по моим статьям сразу ломаются под защиту в оперативный отдел. Попросят поддержки. Но, естественно, ничего в этом мире просто так не бывает. За защиту им надо стучать. Докладывать. И так далее.

Можно сказать, что это был последний контакт с зоной.

Выходим сквозь штаб на улицу.

До поезда — а он вечером — ещё ждать достаточно долго.

Едем на вокзал с двумя земляками. Дедом под шестьдесят и ещё «левым» - петухом то есть, закупив по дороге несколько литров водки, майонез, колбасу и что-то там ещё.

В зале ожидания начинаем бухать. Свобода не ощущается никак. Просто с удивлением смотришь на людей, которые бесцельно бродят. И ты можешь делать то же самое.

После первого стакана становишься огромным, могучим. Кажется — действительно всё то, что ты придумал, ты осуществишь.

Выходим курить на крыльцо.

На крыльце, у главного входа вокзала, стоит молодая, симпатичная девушка. С довольно приличным животом. Беременная. Упоротая в мясо.

Начинает со мной диалог. Я понимаю — это какой-то пробив. Есть ли бабки, откуда освободился. В общем, ловит наркототов прямо на выходе из зоны. Пасет освободившихся.

Я даю ей понять: со мной ничего не выгорит. Не торчу уже много лет. И в целом — шас попию и уеду к хуям собачьим из вашей Перми.

Она уважает то, что я её раскусил. И мгновенно перекидывается на пидораса, который в своё время торчал. Уговаривает его поехать в какую-то деревню. Купить там много-много хороших наркотиков. Дёшево. Он соглашается. Они уезжают.

Мы остаёмся с дедом. Что меня вполне устраивает. Пидорас был довольно склизкий и неприятный.

Бухаем с дедом. Нам довольно хорошо. Около семи вечера. Скоро поезд. Состояние прекрасное. Бодрое.

В зале ожидания внезапно появляется наш «левый». Выглядит крайне взвинченным: весь в поту, глаза бегают, руки дрожат. Из его сбивчивого рассказа понимаем, что его занесло в какую-то деревню в окрестностях Перми с друзьями уже мне известной беременной шпионки. Его там наебали и чуть неотьебали. Чудом спасся.

Мы смеёмся, слушая его рассказ. Но «мы» — это я. Потому что дед старался быть корректным. Его в тюрьме учили не показывать эмоции. Мне же пофигу совершенно. Тем более уже литр во лбу.

Пидорас рассержен тем, что я ему не сочувствую. Но так как у него больше нет денег, просит выпить с нами.

Наливаю ему в отдельный стакан. Хотя на воле уже — кто там знает, что я пил с пидорасом, или что там с пидорасом, или я сам пидорас?.. Насрать. Но в целом соблюдаем приличия. Тем более дед — первоход, он чурается.

Наливаем пидарасу. Пидарас выпивает. Ещё выпивает. Ещё выпивает. Ещё выпивает.

Я выпиваю так же. Глумлюсь над ним.

Плохо помню, что было дальше. Только помню, что я сильно на него наехал, и он куда-то убежал.

Продолжаем бухать с дедом.

Приходит полиция. Вместе с этим. Полиция задаёт вопрос пидарасу:

— Кто из них?

Говорит:

— Он.

И показывает на меня. Я в полном недоумении. Но от пидораса станется что угодно, особо не удивляюсь. Тем более он гниловатый какой-то.

Полиция подходит:

— Этот человек говорит, что вы у него деньги все украли. И, собственно говоря, на них пьёте и не хотите ему возвращать.

Дед молчит. Дед боится всего на свете.

Я начинаю орать просто благим матом. Что я его убью. Что этого пидораса самого развели. Что я здесь вообще ни при чём.

Меня забирают в отдел при вокзале. Сажают в клетку.

Моему недоумению и злости нет предела. Только что освободился. И опять здесь.

Чёрная депрессия накрывает с головой. Я ору. Понимаю, что делать этого не стоит, но уже не контролирую себя. Ору. Кричу. Требую, чтобы меня отпустили. Одеди наручники.

Немного успокаиваюсь. Алкоголь в большом количестве всё-таки действует. Перестаю нервничать. А вот тут, как оказалось, именно нервничать и надо было.

На пульте у ментов звонит телефон. Они смотрят на меня. Кивают. Подходят. Открывают камеру:

— Выходи.

— Куда?

— Вызывает начальство. Пошли.

Идём по каким-то коридорам. Заворачиваем направо, налево, наверх, вниз. Приходим в комнату. Там сидит подполковник. Смотрит на меня:

— Снимите наручники. Пусть сядет.

Я сажусь. Называет моё имя, фамилию.

— Щас мы тебя передадим. И спокойно поедешь в свой Санкт-Петербург.

Передадим?.. Все мои страхи. Все те, которые я за последние спокойные месяцы пытался забыть. Они словно в один момент встали передо мной. Мерзкая вездесущая Горгона.

Дикий колотун. Озноб. Я даже не могу связывать слова.

Кое-как спрашиваю:

— Что происходит?

Он молчит. Выходит из кабинета.

В кабинет входит... Опер из Санкт-Петербурга. Который меня закрывал ещё в самом начале. Брюнет.

У меня столбняк.

Он смотрит на меня. Иронически улыбается. Качает головой. Я пытаюсь что-то спросить, но не получается. Никак.

Присаживается на стол рядом со мной. Говорит:

— Что, Лёша, как, собственно говоря, и ожидалось — мы встречаемся с тобой снова. Не всё ты нам рассказал, пиздабол. Сравнили образцы твоих анализов. И результаты тебя совсем не обрадуют. Два эпизода всплыло в твоём деле.

Я смотрю на него стеклянными глазами. Во рту ком. Мне хочется дико заорать, но я не могу. Что-то останавливает. Какой-то внутренний ступор.

Внутри я просто плачу. Как маленький мальчик, который потерялся без мамы. Стоит один в лесу или на площади чужого города. Мне так страшно. Мне так одиноко. Я так хочу домой. Позовите маму. Пожалуйста. Я больше так не буду!

Брюнет пристально смотрит на меня. Более чем хорошо понимая мое состояние. Тут не надо быть сильным психологом, чтобы даже физически, чуть ли не со мной, ощущать эту панику.

Только-только ты уже был почти дома. А теперь, даже никого не увидев — не увидев Питер, не увидев дом — ты поедешь обратно. Причём непонятно, насколько.

Брюнет пододвигается ко мне. Вполголоса говорит:

— Есть, Лёша, несколько вариантов развития событий. Первый вариант. Так как я помню, что ты у нас любишь быковать, и я не случайно здесь, как ты понимаешь, появился, проделав такой долгий путь до Перми... Так вот, первый вариант развития событий: ты, естественно, идёшь в полный отказ. И по прибытии в Питер мы вешаем на тебя оба эпизода. Один из которых — можно сказать, простое изнасилование тринадцатилетней — обернётся тебе десяткой. Ну, при каких-нибудь, может быть, найденных смягчающих — чуть поменьше. А вот второе связано с убийством шестилетней девочки. И это уже грозит тебе пожизненным.

Он делает паузу.

— Ну, так как я более-менее с уважением к тебе отношусь, так как помню тебя и знаю оперов, как ты проделал свой путь... Я предлагаю тебе сознаться в одном из эпизодов. И тогда просто на сто процентов тебе гарантирую: второй не всплывёт никогда. Я предлагаю тебе выбрать. Понимаю, что твой выбор остановится на простом изнасиловании. А с убийством уже мы что-то придумаем сами. Это я делаю, ну поверь уж мне, только из уважения к твоей стойкости.

— Другой вариант развития событий, какой я тебе уже сказал: ты едешь в Питер, отказавшись от всего. Но едешь в Питер ты не просто так.

Он встал из-за стола, со стола, и дошёл к двери. Открыв её, он крикнул:

— Заведи этого!

Я с ужасом смотрю на дверь. И там появляется пидорас, который ехал со мной.

— Зайди, закрой дверь, зайди сюда, — командует брюнет пидору.

— Так вот, Лёша. Если ты сейчас идёшь в отказ, этот прекрасный мальчик обоссёт тебя с головы до ног. Я сниму это всё на телефон. А потом отправлю операм на «Лебедёвке», когда ты туда приедешь. И тебя пожизненно загонят в петушатник. В независимости от расклада событий — докажут тебе, не докажут эти эпизоды, но ты до конца своих дней при попадании в тюрьму будешь оказываться в петухах. И здесь уже будет зависеть от хаты и от тебя: будут тебя ебать или просто ты будешь бесконечно убирать уборную. Решай, Алёша. Времени до поезда очень мало. Поедем мы в отдельном купе, хоть в этом оторвёшься, дам тебе чаю, покуришь. Ха.

Я просто их обоих практически перестаю видеть перед глазами. Два расплывшихся силуэта. Один невысокий, другой здоровый. Может быть, они нереальны. Может быть, это какая-то моя больная фантазия со мной играет в жёсткую шутку.

Но тут отрезвляюще появляется затрещина. Лёгкая, даже можно сказать — унижительная, от брюнета.

— Думай, Лёша, думай, — говорит он.

Я поднимаю на него глаза и чувствую всем... Просто каждой самой маленькой молекулой своего естества. Что больше я никогда не буду ни прежним, ничего у меня не будет в жизни нового, радостного. И не смогу я покончить жизнь самоубийством, потому что они мне не дадут. Будут всячески следить за мной. И до конца своих дней, наверно, я просто сдохну в этой тюрьме.

— Дайте сигарету, — дрожащим голосом прошу я.

— Это пожалуйста, — говорит брюнет. Достает мне «Кэмел».

Я затягиваюсь. Смотрю на этого пидораса. Он отвечает мне наглой улыбкой. Показалось, не показалось — он даже облизнулся, как людоед, глядя на меня. Вот ему в кайф будет всё это осуществить. С него же вообще спроса никакого.

Я даже не могу хоть как-то анализировать ситуацию. При любом раскладе она ужасна.

— Ну, — говорит брюнет. — Решение.

Я понимаю, что это не суть важно. Что можно, в принципе, отказаться потом будет от своих показаний. Но страх играет злую шутку. Иррационально перестаю мыслить.

Выкуриваю сигарету. Становится только хуже от того, что начинается алкогольный отходняк.

— Вон бумага, — не дождавшись моего ответа, показывает брюнет на стол. — И рядом ручка. Садись, пиши, я подскажу тебе, что надо.

Ещё раз смотрю на пидора, который глумливо за мной наблюдает.

Я встаю со стула и подхожу к столу. Мне не хватает соображения даже пододвинуть стул к столу, чтобы присесть на него. Согнувшись, я беру ручку в руки.

— Пиши, — говорит брюнет. — Такого-то числа, такого-то года... Я по адресу Моисеенко, дом 10, с целью совращения пригласил домой малолетнюю Ольгу Иванову. Осознавал, что ей было на тот момент 13 лет. Пригласил её под предлогом фотосессии для одного журнала.

Сначала предложил ей сфотографироваться в различных позах. С цветком. С журналом. Сидя, стоя, лёжа. Потом сказал, что для фотоагентства это будет дополнительным стимулом заключить с ней контракт, предложил ей... Она сначала отказалась. Но я ей предложил, понимая её страх, вознаграждение за это. В размере 6500 рублей.

Несмотря на ужас того, что он мне диктовал, цифра 6500 почему-то не укладывалась у меня в голове.

— Почему такая сумма? — спросил я его.

Брюнет, улыбаясь, посмотрел на меня:

— Какая тебе разница? Пиши, придурок.

Я стал понимать, что как только я взял ручку и стал писать, он уже перестал со мной церемониться. И не было того... Исчезло, точнее, то псевдовежливое ко мне отношение.

— Написал?

Я еле-еле кивнул.

— После того, как она ..., я сфотографировал её полностью ...

У меня ручка выпала из рук.

— Я не буду дальше писать, — пролепетал я.

Он со всей силы ударил меня по уху. В голове зашумело, а алкоголь смешался с болью.

— Не буду, — медленно произнёс я.

Он повернулся к пидору, сказал:

— Иди сюда. Пиши то, что я буду диктовать, а он потом подпишет. В состоянии же написать: «С моих слов записано верно, мною прочитано».

Я кивнул.

Мир вокруг меня, во мне, всё то маленькое, светлое, что начинало раво мне — умирало и плакало.

— Алексей!

Какого хрена ты вдруг так начал меня звать?

--- Алексей! Алексей, подъём, Алексей!

Я открываю глаза. Передо мной стоит пермский мент, тормозит меня.

Я в собачнике. До сих пор. Каким это образом? Как я отсюда, туда, как, что?

— Давай на выход, на поезд опаздываешь.

Я поднимаюсь со скамьи. Ноги не держат, затекли. На полусогнутых выхожу из камеры. Всё ещё не понимаю, что происходит.

— Вот здесь подпиши. Здесь и здесь. Это то, что ты ругался матом. Отправим за тобой нарушение.

Я молча подписываю. Даже не сопротивляюсь.

— Смотри, твоего кореша мы отправляем другим поездом, чтобы вы не пересекались. Так что езжай спокойно и не думай, что вы там встретитесь. Что ты начал быковать? Спокойно бы всё решили. Мы сами видим, что он пиздит. А ты начал нас оскорблять, ну, уж извини. Пришлось принять меры.

Я выхожу из отдела. Рядом на баулах сидит недоумевающий дед.

— Ни хуя, приколы. Я думал, тебя совсем не отпустят. Поеду один. Сидел здесь, ждал до последнего. Пойдём, через полчаса поезд.

Я потихоньку выползаю из морока своего сна. Стараясь осознать, что всего этого не было.

Выходим на перрон. Закуриваю сигарету. Оглядываясь по сторонам, опохмеляюсь. Получается всё закончилось. Да. Получается так. И всё равно ощущение не достоверности, не точности, не ясности не покидает.

Я еду домой. А эти садистские игры подсознания теперь со мной, наверное, навсегда.